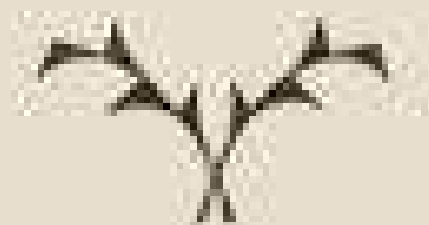


ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ БАРОНА БРАМБЕУСА



ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ БАРОНА БРАМБЕУСА[1]

? chaque baron sa fanta?sie.

(У всякого барона своя фантазия.)[2]

Старая шутка

I

ОСЕННЯЯ СКУКА

Любезный доктор! я принимаю ваше лекарство, но оно не производит никакого действия. Я все стражду сплином[3], который при этой ужасной погоде еще усиливается. Нельзя ли прописать мне чего-нибудь другого, немножко покрепче? Мне кажется, что если б я прорезал себе горло перочинным ножиком, то дня через два был бы совершенно здоров и весел?..

Ваш преданный

Лорд Кастври[4]

Life and Corresp. of Mar. Londonderry[5].

Темно! сыро!.. На дворе дождь. Посмотрите, что за воздух! Возможно ли человеку жить в таком тяжелом, грязном растворе мрака и болотной воды? Посмотрите на общество, отсыревшее от ненастного лета и осенних туманов, подернутое мглой дремоты, томное, бледное, унылое; исхудавшее от беспорочности по службе, от неурожая по деревням и от засухи, постоянно господствующей в словесности; ищущее для себя пищи по страницам вышедших в течение года книг и, ища, зевающее над страницами, и, зевая, раскрывающее рот так широко, что когда-нибудь на днях — увидите! — оно втянет в горло и проглотит не только тощую нашу за весь год словесность и почтенных словесников, но и великолепное объявление А.Ф.Смирдина о новом журнале[6], с полным списком наших литературных знаменитостей, с нашими самолюбиями и своими надеждами. Я весь дрожу при виде этого воздуха и этого опасного расположения общества к судорожному зеванию — дрожу и сам зеваю, по его примеру. И долго ли будем мы так зевать на свете?.. Не понимаю, кому еще охота добровольно душиться в такой убийственной атмосфере нравственной и физической

скуки. Я по крайней мере не хочу быть долее свидетелем этой умственной распутицы, по которой понятия наши тащутся так медленно и с таким трудом, где они беспрестанно вязнут в черных, широких, 4-частных лужах безвкусыя, где того и гляди, что их затопчет в грязь мимоездом первый тяжелый статье-писатель, скачущий на перекладных к литературной славе. Но и вы, храбрые читатели всего печатного, я думаю, тоже наскучили подобным существованием. Право, оно нестерпимо!.. Так знаете ли, что я вам скажу? Я уверен, что вы с восхищением примете мое предложение. Пойдем и бросимся в Неву!.. Бросимся скорее, пока она еще не замерзла!

В самом деле, зачем нам жить на свете? Погода ужасна, усы наши обвисли, газеты без новостей, черные галстуки угрожают падением и могут увлечь круглые бакенбарды в общую развалину, театры представляют одни только картины и фантазии, картины почти ничего не представляют, в словесности не знаешь куда деваться от предисловий, в гостиных от лотерейных билетов, у себя дома от безвременных гостей и исторических романов, на улице от успехов промышленности. Река целую неделю несет лед; проза круглый год несет вздор; у нас, на Руси, лучшие ее страницы засыпаны толстым слоем острых, шероховатых, засаленных местоимений

сей и

оний [7]

, которых, по прочтении, не смеете вы даже произнести в честной компании, которыми наперед израните себе до крови язык и руки, пока сквозь них доберетесь до изящного. Разве это жизнь?.. Лучше пойдем в Неву! Утонем все вместе, так, по крайней мере, будет конец этой скуке.

А ежели вы не хотите, я пойду один. Пойду!.. Смотрите ж и удивляйтесь моей решимости. Когда меня не станет, скажите моим знакомцам, что я утонул с уныния, с отчаяния; потому что на свете и в словесности в нынешнем году было очень скучно, потому что русская изящная словесность XIX столетия не хотела говорить русским языком XIX века, что она тайно покупала у повытчиков[8] в числе прочего казенные местоимения

сей и

оний, топила ими свои произведения как собственными дровами и безвкусно испещряла все свои строки, что она никак не соглашалась стряхнуть с себя пыль канцелярских форм, описывала даже любовь и ее прелести слогом думного дьяка Власа Афанасьева и заставляла меня, злополучного, думать на одном языке, на том, которым говорю я с порядочными людьми, а писать на другом, которым не говорит никто на земном шаре. Скажите им чистосердечно — зачем скрывать истину? — что однажды, в глубокую осень, в сырую погоду, когда темный и печальный воздух обыкновенно наводит на людей меланхолию, я страдал сплином и как-то пожелал сделаться сочинителем; сел писать — не забудьте прибавить, в изящной прозе — задумал первую фразу, которая в моей мысли начиналась словами

«Этот дурак...» и, быв принужден написать вопреки моей совести и моему слуху,

сей дурак или

оний дурак, побежал к Неве и кинулся в воду. Скажите им все это — и прощайте.

Прощайте навсегда!.. Через полчаса, не далее, я безвозвратно расстанусь с этим коварным и двуличным светом и переселюсь в лучший мир, туда, где пишут теми же словами, которыми говорят. Прощайте! Иду!..

Куда?.. Зачем?.. Не сумасшедший ли я? Лишать себя жизни из-за канцелярских местоимений!.. Я был бы настоящий

сей, оный, таковой и даже

упомянутый дурак, если б сгубил свою душу из-за такой ничтожной причины. Нужно иметь несколько философии. Я могу вооружиться ею и благородно, великодушно презреть подобные местоимения, как Александр Великий презрел наглость скифов[9]. Да... конечно: я их презираю. Что они мне сделают? Буду назло им жить на свете; жить нарочно для того, чтоб огорчать их моею к ним холодностью, чтоб бесить их, чтоб их самих привести в отчаяние и заставить, подобно теснимой дымом саранче, сняться тучею с поля словесности и опрокинуться в Неву.

Как будто не найду я средства приятно провести дождливое время, не вдаваясь в изящную прозу и в авторство! Вместо того, чтоб бросаться в реку, я определюсь в судьи. Вы не можете себе представить, как привольно быть судьей в дурную погоду. Правда, что судить о людях и вещах весьма трудно: на то требуется много ума, познаний, опытности; но судить людей и вещи совсем другое дело — безделица! Стоит только сесть и судить. И как мне будет весело, когда сделаюсь я судьей! Сяду в кресла, за красный стол, перед зеркалом; сложу руки на груди, вытяну ноги, потуплю взоры и велю себе докладывать. Секретарь станет читать длинную записку; я стану спать. Он все будет читать, я все буду спать — спать сном сладким, длинным, предлинным, бесконечным, как записка; проснусь только на минуту, чтоб подписать определение, и опять усну. Шум плещущих капель дождя и однообразное, заунывное жужжание секретарского чтения доставят мне роскошный, райский сон. Таким образом буду я неумолимо присутствовать, исправно очищать дела и беспристрастно решать споры моих сограждан до первой санной дороги. Какое счастье! какое положение! — спать и быть полезным отечеству!! Иду непременно в судьи.

Не то, если не захотят определить меня в члены хорошего суда, с хорошими, набитыми чесаною мочалкою креслами, я могу жениться. Оно почти то же: женитьба тем именно чрезвычайно похожа на судейский сан, что, как там, так и тут, для исправного течения дел надобно много спать. Я даже думаю, что сделаю гораздо лучше, если женюсь. Как вы советуете, господа женатые читатели всего печатного?.. Мне кажется, что, если б я приказал связать себя крепко-накрепко брачными узами и лежал на свете счастливым поленом, это было бы удобнее, чем быть съеденным щуками в Неве или почивать на лоне правосудия. Но о Неве я уже не думаю: итак, следует только взвесить со вниманием и сравнить беспристрастно выгоды судейства и супружества. Поставим с одной стороны мягкие казенные кресла красного дерева, Полное собрание законов, длинную записку о деле и благоухающего утренним пуншем секретаря — с другой, большое брачное ложе с шелковыми занавесами и роскошною постелью, целую библиотеку печатных правил и рассуждений о домашнем счастье, длинный список приданому и белую, розовую, молоденькую супругу с нежными голубыми глазами, с золотыми волосами, с прелестною ручкою и сердцем, горящим любовью ярче кенкета[10] в прозрачной как хрусталь груди. Как вам угодно — я почитаю правосудно, но в этом случае, не дожидаясь даже вашего мнения, основанного на опыте, собственным своим умом отдаю полное преимущество женитьбе; и если ошибаюсь, то ответ за мною.

Следственно, на нынешнюю осень не хочу быть судьей, хочу быть супругом. И буду! Вот, пока дождь не перестанет, влюблюсь поскорее в прекрасную, добродетельную, скромную девицу и торжественно вступлю с нею в брак. Каким небесным счастьем буду я наслаждаться в то время, как вы, не зная что делать от скуки, длинно и печально будете раскладывать пасьянс! Увидите, какая будет у меня жена! — тихая, кроткая, послушная, как все новобрачные. Сверх того, она будет умна, чувствительна, весела, очаровательна. Маленький ее ротик, цветущий тонкими пурпуровыми устами, озаренный улыбкою, какой вы еще век не видали — какую я только видел однажды в моем воображении,— будет нарочно создан для

поцелуя и изящной прозы; он прекрасно будет говорить по-русски и перескажет мне со вкусом те чувства, которые сердце се с восторгом будет вырабатывать для моего благополучия; перескажет языком светлым, благозвучным, как майская песня соловья; ротик чистый, свежий, сахарный, которого никогда не оскверняли ни измена, ни подъяческие местоимения; из которого не услышу я ни

сей чепчик, ни

оний поручик ;который скорее согласится говорить по-татарски, чем произнести отвратительные для него слова

сей и

оний - потому что, извольте знать, моя жена будет превосходно воспитана и взята из хорошего общества. Я буду с ней совершенно счастлив, несмотря па дурную погоду. Не забудьте, что вслед за свадьбою ожидает меня медовой месяц, который продолжается ровно четыре недели; месяц восхищений, клятв, вежливостей, неизъяснимого согласия и непоколебимой верности; месяц, в котором заключается краткое содержание всего, что только люди написали о любви и счастии с первого года от сотворения света по 1833 год включительно. На этом месяце я преимущественно основываю мои расчеты в рассуждении нынешней осени... Но барометр что-то стоит очень низко!.. А если медовой месяц кончится прежде дождя?.. Ежели ненастье и скука будут продолжаться пять, шесть, семь, десять недель сряду?.. И настанут обыкновенные дни супружества?.. И мы как-нибудь поссоримся друг с другом? И я взбешусь, схвачу шляпу и уйду па улицу? И дождь промочит меня всего? И я получу простуду? И мой сплин?..

Нет! Не хочу жениться! Это слишком опасно в таком изменническом климате, как петербургский.

Лучше куплю себе канарейку и буду забавляться с нею. Если увижу, что, для рассеяния скуки, господствующей в нынешнем году во всей Европе, одной канарейки мало, то куплю их десять, пятьдесят, сто. Достану себе еще попугая и сороку, которые бы хорошо умели говорить и смешили меня своим лепетаньем. А когда нужно, прибавлю к ним еще полдюжины собак разных пород, обезьяну, пару белых мышей и ручного медведя — и буду прелестно жить в их обществе. И сказать по совести, не в укоризну ни себе, ни моим приятелям, на свете нет другого чистого, верного, безопасного удовольствия, кроме общества безвредных скотов. Я испью до самого дна чашу этого удовольствия: запрусь в своей квартире, не велю пускать людей, даже и женщин, и буду исключительно обращаться, беседовать, гулять, рассуждать и жить с животными. Новый мир создастся вокруг меня: я буду обложен зверскими чувствованиями и скотскими понятиями. Мои приятели, добрые, нелицемерные, безвредные приятели, будут медведь, обезьяна, собаки, попугай, мыши и канарейки. Дружба и приверженность, одетые в блистательные перья и косматые шкуры, будут летать по комнатам, будут беззаботно порхать по столам, печам, шкафам и карнизам, будут величаво разлетаться у дверей, на диванах и под диванами. Мы будем жить мирно, будем любить, защищать, тешить и понимать друг друга. Верность, преданность, искренность, признательность, великодушие — все главы и статьи нравственной философии соберутся в наличности в скромном моем жилище, воздух которого упитается и надушится ими от полу до потолка; одного только обмана, одной гордости и подлости тут не будет, потому что дверь с лестницы запру я замком и ключ спрячу в карман.

Вам никогда не случалось быть в обществе настоящих животных?.. О, так вы не знаете, сколько добродетели, сколько истинной нравственности и непринужденной веселости всегда бывает в подобных собраниях! Представьте себе только, для примера, то избранное, отлично воспитанное, благородное общество, которое буду я иметь честь угощать в эту осень в моем доме. Прелестные и ловкие мои канарейки составят главнейшее его украшение: они

наперерыв будут щеголять своими перьями и своими песнями, будут напрягать звонкие свои горлышки, петь, звучать, щебетать — щебетать весь день, щебетать все вместе — и, несмотря на то, никого не оклеветают! В целом этом шуме не найдете вы ни одного слова злословия или насмешки. Мои собаки будут резвиться, прыгать, валять друг друга на землю; иной бы подумал, что они заняты только собою, но и в самом пылу забавы их мысль и сердце всегда подле хозяина, они мигом сбегутся к нему и разорвут в куски мерзавца, который осмелится посягнуть на его честь или достояние. Где видали вы таких добродушных гостей? Обезьяна будет бегать, кривляться, передразнивать всех, и даже меня, но без злобы, без колкостей, не по желанию выказать свое остроумие, а только потому, что она обезьяна. Покажите же мне таких добрых и откровенных обезьян в обществах человеческих!.. Мои мышки пусться вальсировать в колесе и будут вальсировать скромно, невинно, без дурных мыслей, без тех опасных для нравов последствий, какие, по мнению философов, нераздельны с людским вальсом. Мой почтенный медведь вальсировать не станет: он только танцует полонез. Протанцевав, он будет участвовать в общих забавах в качестве наблюдателя нравов, но он не напишет на другой день статьи для журнала о личном нраве хозяина, не оцарапает меня своими наблюдательными когтями и не предаст посмеянию за то, что я был не одинакового с ним мнения о других медведях, его соперниках. Почтенный медведь!

На все эти чинные, благопристойные, отлично честные действия моих животных-гостей буду я смотреть с душевным умилением, с спокойною отрадою, сидя у камина в старом моем Вольтере, в белом колпаке и красных туфлях, делая замечания, играя с собаками, глядя медведя за его кротость, улыбаясь, даже хохоча, и ощущая то благополучие, какое невольно рождается в нас при совершенном прекращении скрипучего, раздражительного трения души с жесткою поверхностью людских страстей. А когда наскучу смотрением и пожелаю развлечь себя дружескою беседою — как, по несчастии, у меня нет жены, нет верной подруги, которая, нежно прислонив голову к моему плечу, слушала бы мои рассуждения и мыслила со мною моей мыслию, — то я сяду у клетки и стану разговаривать с попугаем. Он взлетит на мое плечо, подерет клювом за платье и будет ожидать, пока я заговорю с ним. Я скажу ему несколько слов — он повторит их с величайшею точностию; я еще скажу — он повторит и это... Знаете ли, что мне пришло в голову? Я думаю, что, в рассуждении приятности беседы, с попугаем я даже выиграю более, нежели с верною подругою. По крайней мере, когда я скажу: да! — он в возврат не скажет мне: нет!..

Ах, зачем не могу я жениться на попугае! Я был бы беспредельно счастлив с этою птицею, созданною для истинной дружбы и вечного согласия!

Так, это решено. Иду тотчас покупать себе гостей, приятелей и собеседников из животных, из подлинных животных, записанных в оклад по зоологии в этом чине и гордящихся своим почетным званием. Это намерение кажется мне умнее всех прочих, которые сегодня родились в моей голове. Одно только неудобство, что когда канарейки начнут петь все вместе, попугаи кричать, обезьяна визжать, собаки лаять, медведь, не понимая дела, реветь в углу, как невежественная критика в забытом журнале... Господи, какой ад! какой шум! Ведь это хуже, чем в супружестве! А я именно потому не женюсь во второй раз, что боюсь шуму пуще смерти...

Не хочу, не хочу животных!

Не хочу ничего в свете! Мне ничто не удастся!.. Быть может, дождь скоро пройдет, скоро кончится осень и наступит зима; небо, воздух, мой ум и общество несколько просохнут, разгуляются, станут повеселее... Посмотрим барометр. Как?.. он упал еще ниже!! Сообразив все обстоятельства, вижу, что мне не остается другого средства, как повеситься от скуки по-английски или забавляться с самим собою. Надо решиться, не теряя дурного времени, и избрать то или другое. Повеситься было бы гораздо короче и яснее. Вот хороший крюк в потолке. Но чтобы удобно на нем повиснуть, нужно наперед снять с него люстру... Слишком

много заботы! Нужно также купить прочную, надежную веревку — а я не подумал о том заранее, во время выставки произведений народной промышленности. Хороший товар за сходную цену можно купить только на выставке: это не секрет! Притом, висящий человек всегда кажется немножко смешным... Уж лучше забавляться с самим собою!

На что мне искать животных, когда я сам могу заступить для себя их место! И знаю, как сделаю: запрусь в кабинете, опущу шторы, заткну даже ключевую дырку в дверях, чтобы никто не мог подсмотреть меня, и буду играть с моим самолюбием, как с обученным пуделем: заставлю его прыгать через палку и лаять перед портретами моих соперников, особенно тех, которые умнее меня; велю ему сидеть передо мною на задних лапах и удивляться моему уму и моим добродетелям; сяду на софе и брошу в другой конец комнаты чью-нибудь славу, чье-нибудь бессмертие, и прикажу подать их мне, как платок или фуражку, положить у моих ног, повергнуть к моим стопам в виде должной мне дани. Мое самолюбие, я уверен, исполнит все это с величайшею точностью и радостью; почему хотите вы, чтобы оно не было так же ловко и услужливо, как другие самолюбия?.. В этой пасмурной и дождливой жизни нет товарища, нет спутника и зонтика вернее и приятнее своего самолюбия. Оно единственный и настоящий друг человеку, источник глупости и счастья, утешитель в неудачах, великодушный судья его слабостей и гонец его к потомству. Если всякий человек имеет своего ангела-хранителя — в чем я нисколько не сомневаюсь, — то его самолюбие есть штатный помощник этому благотворному духу, вице-ангел-хранитель.

Итак, эту осень, длинную, несносную осень я проведу в приятном обществе моего достопочтенного самолюбия. От этого намерения уже не откажусь ни под каким видом! Советую и вам последовать моему примеру: увидите! — не приметите даже того, что на дворе слякоть и что в деревне нет хлеба на посев. Покойник Стерн[11], который отнюдь не был глуп, услаждал таким образом свое горе: под конец жизни он читал только собственные свои сочинения, чтоб иметь дело исключительно с одним своим самолюбием. Станемте и мы читать только собственные свои сочинения и будемте умны и счастливы, как Стерн!

Что касается до меня, то я сейчас сажусь читать свои сочинения. И чтобы вполне упоиться сладостью этого небесного занятия, начну с рукописных моих трудов, которых никто еще не знает, кроме меня и моего самолюбия. Вот толстая тетрадь, в которой заключается полное описание моей жизни. Она вся написана карандашом; я так пишу все биографии великих людей, особенно моих приятелей, чтобы потомство, истерши локтем многие места, не могло разобрать всего, что было написано, и имело лестное понятие о моих связях и нашем веке. Она разделена на восемь глав, соответственно восьми классам таблицы о рангах[12], пройденным мною в течение земного моего существования, которое все еще течет по капельке, и составляющим великие исторические его эпохи. В первой главе описываются происшествия, случившиеся со мною в то время, когда я числился в 14-м классе. Глава вторая посвящена деяниям моим в пределах 12-го класса; третья изображает похождения мои в 10-м классе; четвертая в 9-м, пятая в 8-м и так далее. Это самое простое, ясное, перстом самой природы указываемое разделение жизнеописания смертного, но чиновного человека. Удивительно, что доселе не сказано о том ни слова ни в одной нашей риторике!

Но это посторонний вопрос. Дело в том, что я беру в руки мое сочинение, буду читать его вдвоем с моим самолюбием и буду доволен собою. Кроме того, что оно плод собственного моего пера, мое дитя, моя радость, жизнеописание такого странного, как я, человека не чуждо занимательности и другого рода: я видел много глупостей и сам сделал их много...

Мы упомянули о глупостях: я полагаю, что мое сочинение было бы очень занимательно и для вас, моих любезных ближних. Один английский философ — я знаю, который именно, — опровергая мнение Платона, утверждавшего, что человек есть простое двуножное животное без перьев[13], доказывал, что в таком случае нет никакого различия между герцогом Дивонширом[14] и ощипанною индейкою и что гораздо свойственнее определить человека тем, что он единственное в природе животное, которое стряпает свою пищу на огне. Но я не

согласен с этим определением: следственно, островитяне Тихого океана, выучившиеся от европейцев высекать огонь и делать спички, с тех только пор начали быть людьми, как скушали первый ломтик бифстеку?.. Какое лжемудрие! У меня есть своя философия, гораздо прочнее английской, и я определяю человека со стороны его характеристической и одному ему принадлежащей страсти. Человек, говорю я, есть то особенное, единственное в природе животное, которого главная забава состоит в том, чтоб тешиться глупостями своего рода. Прошу теперь не делать никаких возражений на мой афоризм: вы будете опровергать его, как воротитесь домой из театра или когда кончите разговор о ваших приятелях. До того времени я буду почитать эту истину за доказанную и, убедив вас столь блистательным образом, что для существования в качестве настоящих людей глупости несравненно нужнее вам каши, бифстеку и всей кухни, смею льстить себя мыслию, что могу быть вам полезным моим жизнеописанием.

Я уже вижу, как в глазах ваших возжигается великолепный огонь радости при одном предложении уступить вам, для вашей забавы, богатый клад человеческих нелепостей; вижу, как вы бросаете карты, бумаги, бутылки, любовь, честолюбие, происки и все дорогое сердцу, чтоб расхватать поодиночке несообразности и причуды моей жизни, чтоб повеселиться, приятно потрясти свои губы, роскошно покачать нервы глупостями моими и еще нескольких бедных существ, имеющих честь вместе со мною принадлежать вашему роду. Потише! не торопитесь!.. Я тоже человек, тоже люблю глупости, особенно мои собственные и лично мною подобранные на свете. Мы можем дружески поделиться ими: это другое дело! — но лишить меня всего их сокровища, вырвать у меня все мое жизнеописание, весь ящик моих и приятельских глупостей, было бы с вашей стороны бесчеловечно.

И если даже соглашусь предоставить известную часть моего собрания глупостей в ваше распоряжение, то не отдам ее даром: вы должны прочесть за то мое предисловие. Я знаю, что вы не любите читать предисловий и всегда пропускаете их при чтении книг; потому я прибегнул к хитрости и решил запрячь его в эту статью. Сделайте милость, прочитайте его со вниманием. Без предисловия теперь никакая глупость не выходит в свет, и добросовестный читатель непременно обязан пожертвовать частицей своего терпения в пользу этих литературных прокламаций: это единственный чистый доход авторского самолюбия.

Вот мое предисловие.

Величайшая глупость, какую сделал я в своей жизни, была отлучка моя из отечества, чтоб путешествовать в чужих краях. Первое путешествие предпринял я случайно: вы узнаете, по какому поводу; но, будучи однажды за границу, я уже не хотел возвращаться домой и странствовал бесконечно. Я посетил четыре части света, объехал вокруг всю землю, был в Швеции и Голконде[15], во Франции и Камчатке, в Царьграде и Вашингтоне; видел все, что только есть любопытного и достойного внимания в мире, — словом, китайцев, пирамиды и обезьян; видел голых людей и живых сельдей, кенгуру и английских миссионеров; даже видел, как растет кофе, чай, сахар и ром. Фивская Мемнонова статуя[16], некогда гордо возвышавшаяся среди пышной и многолюдной столицы, удивлявшая древних мудрецов и героев волшебными звуками, которые производил в ней первый луч восходящего солнца, — я видел ее торчащую уединенно в деревенском ячмене и смотрел на великого завоевателя, Мемнона, исправляющего полезную должность пугалы воробьев XIX века, как теперь смотрю на моих кредиторов — с равнодушным любопытством. Гелиопольский обелиск[17], который кто-то из наших знакомцев высокопарно назвал «могучим лучом солнца, зароненным в пустыню», — я этот могучий луч солнца видел просто в картофеле! И подобных лучей видел я по крайней мере три десятка, хотя о том не говорю ни слова.

Зевая на природу и искусство, съедая с аппетитом жареных щенков и парадоксов, закусывая шар?[18] и бананами, запивая мадерою, перевезенною восемь раз через экватор, какой не пивал и сам Гумбольдт[19], прусский камергер и всемирный ученый; варя щи вместо дров на

мумиях министров и любовниц великого Фараона, я путешествовал фантастически — иначе путешествовать я не умею, — бродил кругом света, по свету и под светом; старался видеть все и наблюдал все, что видел; делал открытия, стряпал замечания, изучал людей, изучал мужчин и женщин и был уверен, что путешествую для образования своего ума и сердца. Подписав кучу векселей на всех возможных языках и наречиях, я, наконец, отправился домой, на родину, с утешительной мыслью, что теперь прекрасно знаю людей и что мой ум и мое сердце образованы превосходно. Прибыв в Торопецкий уезд[20], я представил батюшке счет издержкам на изучение людей; он заметил мне со вздохом, что, сколько он знает, в людях нет ничего такого, что бы стоило и половины этих денег, и что, верно, они меня обманули. Относительно к уму, старая тетушка, которой пожал я руку сильно, по английски, сказала, что я дурак, а в рассуждении сердца первая моя на Руси любовница, которой не купил я турецкой шали по неимению денег, объявила, что я жестокосердый. У нас всегда так судят о молодых людях с высшим образованием! Я поехал в Петербург.

Замечание доброго и умного родителя огорчало и мучило меня всю дорогу. В Боровичах, на станции, расплатившись с смотрителем, я посчитался с совестью, и когда подвел все итоги моего знания людей, вышло, что в самом деле они меня надули: вместо изучения людей, которые никак не даются проникнуть себя другим людям, я изучил только длинный список людским глупостям обоего пола!.. Право, незачем было ездить за границу.

Я решился не сказывать никому о том, что знаю человека.

Но путешествие совершено, глупость сделана — что, конечно, обрадует вас чрезвычайно, — и для общей нашей потехи я готов уделить вам три отрывка моей глупости. Я говорю — отрывка, потому что сами вы умные люди и знаете, что мы живем в отрывочном веке. Прошло время, когда человек жил восемьдесят лет сплошь одною жизнью и думал одною длинною мыслию сплошь восемнадцать томов. Теперь наша жизнь, ум и сердце составлены из мелких, пестрых, бессвязных отрывков — и оно гораздо лучше, разнообразнее, приятнее для глаз и даже дешевле. Мы думаем отрывками, существуем в отрывках и рассыплемся в отрывки. Потому и я не могу выпускать моего жизнеописания иначе, как в этом виде: в наше время даже и глупости выдаются свету, на его потребности, только отрывками, хотя иногда довольно значительными. Надо шествовать с веком!

Я сказал, что жертвую ими для общей вашей и моей потехи: это само собою разумеется. Даже, как хозяин моих глупостей, большую часть неразлучного с ними удовольствия я предоставляю себе. Вам только будет приятно знать, что я их наделал, но я!.. я буду в восхищении, в восторге, в исступлении от роскоши, счастья, блаженства: я буду читать несколько раз сряду мое сочинение! Я буду читать его в первой корректуре, буду читать во второй и третьей; прочитаю три раза, даже четыре, и всегда с новым наслаждением. Если я великодушно решаюсь издать мое сочинение, то — будьте уверены — единственно для того, что оно поступит в печать, а печать доставит мне благовидный предлог к троекратному прочтению его, по обязанности сочинителя.

С какою радостью буду я исправлять погрешности набора, с каким благоговением восстанавливать памятник моему самолюбию, поврежденный варварскою, святотатственною рукою наборщика! О, если б вы знали эту единственную в свете сладость — сладость читать корректуры своей книги, — никто из вас не вспомнил бы даже о том, что на улице грязь и в обществах скука! Она так велика, что одна в состоянии усладить все горечи нашей жизни.

Если вы несчастны в супружестве, посылайте сочинения ваши в типографию и читайте корректуры.

Если в Новый год не получите награды, читайте корректуры.

Если попадетесь под суд, читайте и тогда корректуры и, переменяя кстати несколько букв в

предмете вашего обвинения, не бойтесь правосудия и блаженствуйте под судом. Корректурка есть то высшее, верховное удовольствие, в котором сосредоточиваются все блага европейского просвещения. Древние не знали корректур: вот почему они погибли и находятся нынче под судом у потомства!

Теперь вы знаете все, что нужно знать для чтения трех моих отрывков и для совершенного счастья в жизни, и я могу закончить мое предисловие. Есть на свете тяжелые, неподвижные, чугунные люди, называющие себя основательными, которые бы хотели, чтобы все удовольствия были из цельного длинного куска, как Александровская колонна[21], и не постигают поэзии отрывка. Они вообще большие покровители ябеднических местоимений сей и

оний и, осердясь на меня за то, что я смел толкнуть в бок предмет их нежного покровительства, вероятно, вооружатся и против моей системы отрывков. Скажите же им, ради бога, что отрывок есть представитель нашей образованности, итог нашего терпения в полезных занятиях, царь новейшей словесности, верх изящного.

Они, как охотники важничать и спорить, быть может, спросят у вас, что такое понимаете вы под именем «изящного», и потребуют точного определения этого понятия. В ответ бросьте им высокопарную и темную фразу, какую бы то ни было, первую, которая придет вам в голову, хоть бы и вовсе некстати — потому что все определения предмета, которого никто еще не понял со времени вымышления его названия, равно хороши и ясны; в крайнем случае сошлитесь на какого-нибудь знаменитого автора.

А если, придираясь ко всякому слову, они спросят, что есть автор, — скажите им, не запинаясь: автор какой-нибудь книги есть тот необыкновенный человек, который, один на всем земном шаре, прочитал ее трижды, не задремав ни разу.

II

ПОЭТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БЕЛУ-СВЕТУ

Счастлив, кто с юношеских дней,

Живыми чувствами убогой,

Идет проселочной дорогой

К мете таинственной своей,

Кто рассудительной душою

Без горьких опытов узнал

Всю бедность жизни под луною

И ничему не доверял! Н.Языков[22]

.....?

Когда я был коллежским секретарем, свет казался мне очень скучным; я негодовал на все — на свет и на чины, на ленты и на человечество. В самом деле, человечество десятого класса представляет не много занимательного: развлечения его слишком вялы, мысли как-то слишком низкопоклонны, даже глупости незаметны, — а самые лучшие надежды так далеки, туманны, серы, так упитаны крепким духом северных наших передних, что это ужас!.. Мои понятия всегда стояли без шляпы перед понятиями высших девяти рангов, всегда простуживались из почтения и всегда страдали насморком; кровь моя действовала так медленно и так слабо, как циркуляры, которые я переписывал; всякий день моей жизни был на рассвете помечен входящим номером и немедленно подшит к проволоченному делу. Я чувствовал себя созданным для высших чинов и высших ощущений, но какая-то волшебная, невидимая сила тяжелою цепью приковывала мое существование к десятому классу; казалось, что я никогда из него не вылезу, что когда весь род человеческий будет произведен в титулярные советники[23], я один на земном шаре останусь коллежским секретарем. Дождаясь повышения целые пять лет, я уже был уверен — да и все гении десятого класса бывают в том уверены! — что человечество остановилось и стоит неподвижно; что его просвещение и образованность даже идут назад. С досады я сделался было ужасным вольнодумцем и смотрел на вещи и на моих ближних сквозь тусклое стекло сожаления. Теперь, как я уже статский советник и скоро надеюсь быть действительным, я думаю совсем иначе; теперь я возвращаю человечеству честь и славу и вижу, что оно подвигается к совершенству, которого неминуемо достигнет, как скоро сделаюсь я превосходительным[24].

Но, повторяю, когда я был коллежским секретарем, мне было очень скучно. Видя себя забытым и мои дарования пренебреженными, я перестал ходить в канцелярию и начал ходить к моей начальнице, чтоб обратить на себя внимание начальника. Но он и тут меня не приметил. Есть на свете люди, которые ничего не примечают!.. Я оставил начальницу и пошел искать сильных ощущений.

Моя душа уже не вмещалась в тесных пределах десятого класса; она бродила, кипела, вздувалась, выступала из берегов и потопляла собою все смежные низовые чины, всю нагую, бесцветную равнину взморья гражданской жизни, Я родился поэтом, романтиком, и душа моя непременно требовала сильных ощущений. Бледные, томные, спазмодические, слегка нарумяненные и гладко причесанные красоты классицизма проходили по ней, как тени по полотну, не оставляя ни малейшего впечатления. Я жадно прочитывал творения новой поэтической школы, мечтал днем и ночью о страшном, мрачном, отвратительном, ужасном и был в отчаянии, что ни на Невском проспекте, ни на Черной Речке не находил ничего подобного. Чтобы согреть душу новыми, неизвестными ей чувствами, чтобы произвести корч в сердце, сведение в жилах, судороги в мозгу и упоиться выпретенною, недоступною для обыкновенных умов сладостью, я желал впасть в чахотку и начать харкать кровью; я воображал себе роскошь быть посаженным на кол; иногда мне хотелось скитаться по свету с отсеченным языком и руками и сочинять стихи в этом положении — или видеть себя заживо запертым в гробу и съеденным червями — или снизу до пояса замерзнуть в Неве, а сверху от пояса до головы возгореться любовью и пылать пожаром страсти в виду всей Английской набережной — или, затворясь в больнице неизлечимых, быть схваченным вихрем кашля, стога, колика, горбов, ран, гноя, паралича, падучей болезни и антонова огня[25] и кружиться до смерти в омуте человеческих страданий - или провалиться внутрь кладбища и лежать среди бесчисленных остовов на груде перебитых черепов и ребр, тогда как по мне плясали бы мертвецы, черти, ведьмы, вампиры, змеи, ящерицы, жабы и все, что составляет прелесть жизни, прекрасное и высокое в природе; не то из коллежских секретарей прямо попасть в коллежские советники - не то хоть быть поглощенным огнедышащею горою — не то, наконец, хоть самому проглотить огнедышащую гору!.. Тогда, по крайней мере, ощутил бы я что-нибудь сверхъестественное, был бы глубоко тронут, приятно измучен, растерзан и счастлив.

Но спрашиваю, где и как найти у нас такие ощущения — у нас под 60-м градусом широты — у

нас, где точка замерзания воды есть в то же время точка теплоты всех чувствований, где они как стали на нуле, так и стоят зимою и летом?.. Я искал сильных ощущений везде, где только у нас их ни предполагают: искал я их в жирных щах, в убийственных кулебяках, в мертвецком пунше и в Летнем Саду в девять часов вечера, — и нигде не мог на них наткнуться. Они, видно, редко там попадаются, хотя мои товарищи уверяли меня в противном.

Все великие поэты играют в карты: борьба жадности с судьбою есть поэзия кармана. Я пустился играть в карты, и играл шибко, чтоб произвести в душе, коснеющей в одном и том же чине и лишённой движения, хоть какое-нибудь потрясение. И это потрясение действительно скоро случилось с нею; случилось оно во время жестокой драки, когда я, в пылу поэтического вдохновения, зашиб пятьдесят тысяч рубликов у двух молодых и неопытных коллежских регистраторов, недавно прибывших из деревни служить отечеству с хорошими деньгами.

Но после этого спасительного потрясения скука, истинно классическая, грозила истребить в моем сердце зародыши прекрасных страстей и превратить его в пустыню. Регистраторы непременно хотели подать на меня жалобу — я никогда не любил сырой и мрачной прозы тюрем, где сердце человеческое запирают тяжелою веригю из предосторожности от вторжения великих чувствований, где благороднейшее создание в мире сидит в бездействии и унижении, как ум, заключенный в железной клетке трех единств, молящий подаяния нескольких мыслей и куска славы сквозь толстую решетку риторики — и уехал из Петербурга, оставив своих противников без денег и в 14 классе.

Но куда ехать?.. Поеду в Москву.

Нет, в Москве скучно. Что я там увижу?.. Развалины старинной боярской гордости, по которым женихи-спекулянты томно пробираются в наемных каретах! Груды обломков имений, очистившихся от банкового залога, на которых сидят разодетые в пух невесты, вертя пальчиками от скуки и считая звезды на груди приезжающих из Петербурга!.. Там уже нет поэзии; она пропала вместе с древними окладистыми бородами, брововыми шайками, ферязями[26], опалами, теремами и воеводствами; цирюльники соскребли ее с лица английскою стадиою, европейская полиция подмела ее с улиц, площадей и нравов, кафедра пиитики вылущила ее из молодых понятий, французские корсеты выжали ее из женских сердец вместе с азиатскою любовью. Вист, это погребальное развлечение страждущей подагрой образованности, довершил разрушение поэтической Руси, разбив общество плотное, сильное, задорное, резкое, бурное, потешное — важное натоцак, пляшущее вприсядку навеселе, — разбив его на мелкие кучки, о четырех лицах каждая, геометрически расположенные на земной поверхности и безмолвно сообщающие умом отношения королей к тузам и судьбу тузов, дрожащих перед лицом козырной пятерки. В Москве мне нечего делать. Притом, регистраторы легко там меня отыщут. Лучше отправлюсь в Малороссию, посмотрю на отечество стряпчих и повытчиков[27]: должно быть любопытно видеть канцелярские гении в пеленках, еще ползающие по грязному полу и младенческою ручкою рисующие на песке первые черты будущего чернильного крючка. Хочу упиться поэзию подьячества[28]. Еду в Малороссию.

Еду, еду — и все то же: равнина, лес, болото; болото, лес, равнина; на равнине лесок, за леском рожь; за рожью опять лесок, за леском опять рожь. Мой взор скользит уныло по этой клетчатой, симметрически разрисованной поверхности, и я воображаю себе, будто во всю дорогу читаю бесконечный роман покойной литературной школы, разделенный на равные главы, прорезанный межами правильных периодов, писанный слогом чистым, гладким, шлифованным пемзою и покрытым лаком, где злодеяния и добродетели размещены по циркулю, крестообразно, в виде шахматной доски, нарочно устроенной для невинной игры в чувства с благосклонным читателем. Я зеваю и еду.

Приезжаю; никто меня не примечает, потому что я поэт 10-го класса. Я тоже ничего не

примечаю, кроме арбузов, блох и клопов, которых можно найти и в Монастырке[29].
Спрашиваю: откуда берутся стряпчие и повытчики? Хохлы мне отвечают:

А бог знае, пане!.. Ищу поэзии и повсюду встречаю приказную прозу, без правописания. Напрасно проехал я всю Россию: здесь никогда не бывало предметов сильных ощущений. Даже некого обыграть в карты!.. Прощай, отечественная Нормандия! Сажусь в длинную бричку, крытую белым полотном. Жид с огромною дубиною правит четверкою пегих, чахлых кобыл. Я еду далее.

Но я слишком опрометчиво произнес приговор мой о Малороссии. Дождь начинает идти, и картина переменяется: вся страна мгновенно превратилась в океан грязи. Мы плаваем по ней с бричкою и четырьмя пегими кобылами. Положение мое становится несколько занимательнее. Здесь есть поэзия!..

Буря, вьюга. Сильный ветер волнует грязные пучины. Изорванные поярковые шляпы, перебитые грибы, раздробленные дыни и подошвы от старых сапогов носятся с волнами по черной их поверхности. Я всякий час нахожусь в опасности претерпеть бричкокрушение. Страх и отчаяние кровавыми когтями рвут мою внутренность; легкое, голубое пламя надежды еще по временам мелькает в душе моего жида, озаряя грязь и мою судьбу бледным, зловещим, смертельным светом лампы, теплящейся над гробом лицемера; но я уже слышу за бричкою пронзительный, холодный, как лед, ужасный, как ночное эхо вертепа, хохот гибели, которая, уцепясь мощными руками за задние колеса, удерживает наше стремление изо всей силы... Я в первый раз в жизни испытываю над собою действие сильного ощущения: оно очаровательно!..

После двухнедельного грязеплавания бричка моя благополучно бросает якорь в вольной гавани Одессе. Это было ночью, посреди улицы. Мы благодарим небо за наше спасение. Мой кормчий, жид, радостно соскакивает с козел на землю; но — увы! — он тут же тонет в бездонной луже грязи, в которой мы впотьмах остановились. Я роняю горячую слезу в память несчастной его кончины и остаюсь в бричке до утра, держась обеими руками за сундук, заключающий в себе мои надежды в круглых металлических плитках и мою будущность в листочках. На другой день жители и будочники прибегают огромною толпою, ободряют меня кликами, приносят длинные доски, кладут их одним концом на краю брички, а другим на тротуаре и устраивают для меня безопасный спуск. Я сажусь на свой сундук, съезжаю на нем по доскам и выхожу на твердую землю в столовой какого-то трактира. Вот вся история поэтического путешествия моего из Малороссии чрез Новороссию, на край всея Руси, в Одессу. Теперь я постигаю поэзию грязи, которую малороссияне так страстно любят переносить в свои романы. Если когда-либо ворочусь в Петербург, то сочиню роман в стихах, то есть поэму, в которой напишу грязью величественную картину моего странствования и моих ощущений.

Я в Одессе. Город славный, каменный, торговый. Улицы шириною в четверть версты: можно удобно делать свои наблюдения. И что всего удобнее, можно их делать, не трогаясь с постели. Дома построены из мягкого ноздреватого камня, состоящего из песка и морских окаменелостей, склеенных как-нибудь местною природою. В этом камне такая же пропасть дыр, как в совести старого подьячего, в которую, как известно, иногда можно просунуть руку насквозь. Как дома большею частью оштукатурены только внутри, то окна считаются в них роскошью, и любопытнейшие из жителей, особенно дамы, скромные по своей природе, предпочитают смотреть на улицу сквозь стену, отбив кусок штукатурки где-нибудь в углу комнаты. Поэзии нет в Одессе; самыми сильными ощущениями называются появление саранчи и мороз в 24 градуса. Итак, чтоб найти себе занятие, я должен был обратиться философом и посвятить себя наблюдениям. Мигом смекнув всю пользу, какую северный философ 10-го класса может извлечь для своей умозрительной лени из этого качества матерьяла, я отваливаю штукатурку над своею кроватью, скважину немножко расчищаю пальцем и, нежась под одеялом, с длинною трубкою в зубах, в благовонном облаке дыма

тюмбеки [30], ложусь на целые сутки бросать сквозь толстую каменную стену «высшие взгляды» на Одессу и выводить чрез дирку умозаключения мои об ее народонаселении, образованности, правах и торговле.

Вот мои замечания.

Народонаселение города чрезвычайно разнообразно; люди — русские, греки, итальянцы, поляки, жидаы, и все те же люди; женщины — русские, гречанки, итальянки, польки, жидовки, и все те же кокетки; разговоры — русские, греческие, итальянские, польские, жидовские, и все тот же вздор, в разных переводах.

Нравы — нравов не видно на улице. Надобно будет, когда встану, посмотреть их за ширмами.

Образованность — французский фрак, английский бифстек, кипрское вино, турецкая трубка, русский банкротский устав[31], +

(плюс) итальянские актрисы, -

(минус) вкус к чтению, =

(итога) очень весело! Право, я гоюсь и в наблюдатели!.. Торговля — о! торговля весьма деятельна. Обозы тянутся непрерывною цепью; поляки везут пшеницу и сало. Привезши, они продают товар купцам, пересчитывают полученные червонцы и тут же проигрывают их в карты. Проигравши, они купаются в Черном море, мужчины и женщины вместе; шумят, хохочут, одеваются на берегу и уезжают домой, легкие, чистые, здоровые, без пшеницы, без сала и без червонцев. Стой! полно наблюдать в бездействии!.. Кто там?.. Васька!.. Я чувствую в себе вдохно-вение политической экономии. Васька, разбойник!.. давай поскорее одеваться. Сапоги!.. брюки!.. скорее!.. Где моя шляпа?.. бегу содействовать успехам внутренней торговли. Вот два помещика, которые никак не могут проиграть своих червонцев, несмотря на все усилия. Надо помочь им скорее опорожнить карманы и уволить их из города в де-ревню, чтоб они могли опять усердно заняться выделкою пшеницы и сала, для отправления в гавань. Это поддерживает хлебопашество, поощряет дворянское трудолюбие... Иду, иду; погодите!.. Во всяком чине можно быть полезным общему благу... Надо непременно подцепить их по-петербургски.

Господа! я держу банк:

Король — двойка;

валет — тройка;

дама — дама;

Хорошо! половина моя.

Туз — пятерка;

валет — шестерка;

король...

Деньги мои!.. Господа, идите купаться.

Они шумят. Нужды нет!.. Ежели придется и подраться — это будет только новое потрясение для души: я путешествую по части сильных ощущений.

— Вы еще спорите?.. Как вы смеете утверждать, что я спроворил вам короля?.. Знаете ли вы, с кем говорите?.. Я десятого класса, я коллежский секретарь!.. А вы кто таковы?.. какого вы чина?..

Помещики перепугались: они приехали в город с пшеницею и салом безо всякого чина!.. Я начинаю убеждаться в пользе чинов и важности десятого класса в особенности.

— На дуэль?.. Как? меня на дуэль?.. Кто смеет говорить о дуэли?.. знаете ли вы, что это строжайше запрещено законом!.. Вы и в Сибири не найдете места.

Они побледнели. Хорошо; это доказывает спасительное действие законов, когда они имеют таких строгих блюстителей, как я.

— Вы намекаете мне о полиции!.. Это другое дело. Извольте адресоваться туда законным порядком. Я люблю законный порядок.

Между тем кладу в карман три тысячи червонных и оставляю помещиков в отчаянии, на основании законного порядка. Однако ж с полицией шутить не надобно: а как поймают меня на улице?.. Лучше принять нужные меры предосторожности. Есть на свете места, исключительно посвященные поэзии и неприступные для полиции.

Бегу на квартиру, беру с собою деньги и бумаги, получаю билет и отправляюсь в карантин. Вхожу; осматриваю заведение с важным любопытством; разговариваю с греками, евреями, итальянцами и перстами, очищающимися от чумы и восточных грехов, чтоб чистыми руками и с легкою совестью начать грешить на Русской земле; стараюсь всячески скомпрометировать себя с ними, но никак не удается: караульный удерживает меня в почтительном от них расстоянии. Придется поневоле оставить карантин, но зачумившись!.. Решительно, у меня ни в чем нет счастья!

Но при выходе попадается мне у ворот греческий нищий, недавно приехавший из Царяграда, чтоб сделаться в России знаменитым изгнанником. Я пользуюсь неожиданною встречей и, в пылу человеколюбия, кладу ему в руку червонец. «Стой!..— кричит издали надзиратель солдату. — Не выпускай этого господина!» — «Что такое?.. за что?..» — «Вы, милостивый государь, коснулись этого человека». — «Так что ж?» — «Он еще не выдержал карантинного срока». — «А мне какое до этого дело?» — «Дело в том, что вы скомпрометированы и должны высидеть здесь с ним пятнадцать дней». Я обижаюсь. Надзиратели убеждают меня печатными правилами. Я спорю. Они настаивают. Я еще спорю, потом становлюсь уступчивее и, наконец, соглашаюсь остаться в карантине. Я только этого и хотел.

Мне отвели комнатку. Буду сидеть здесь, пока мои помещики, не отыскав меня в городе, уедут в деревню. Карантин есть маленькое независимое государство, не признающее никаких законов, кроме аллопатических, никаких властей, кроме штаб-докторской. Это кусок планеты, завоеванный медициною у человека и управляемый страшным врачебным деспотизмом. Рецепт здесь то же, что фирман[32] в Турции. За всем тем, говорят, можно жить безопасно и под медицинским правлением: только не надо жаловаться ни на какую боль в теле; не надо стонать, ни даже морщиться, потому что и там есть доносчики.

Я поселяюсь в моей комнатке. В одно мгновение ока огромные, тощие, алчные блохи, подобно угрызениям совести, нападают на меня черною тучею; кусают, щиплют мое тело,

скачут по лицу и по рукам, проникают в сапоги и под платье, высасывают кровь из-под кожи, высасывают спокойствие из души, счастье из сердца, воображение из головы; я чешусь, прыгаю, потею, изнемогаю; отчаяние овладевает мною, и во второй раз в жизни испытываю я сильное ощущение, но ощущение истинно адское, истинно поэтическое. «Здесь есть высокая поэзия! — восклицаю я с восторгом. — Что малороссийская грязь!.. Настоящая поэзия находится только в одесском карантине». И чем короче узнаю я его, тем более открываю в нем поэзии. Это страна заколдованная, с заколдованным образом мыслей и временными, фантастическими нравами. Это одно из предместий Константинополя, сорванное бурей с берегов Босфора вместе с огромною полосой ума оттоманского и дрязгами господствующих в Пере мнений и выброшенное волнами на «Блошиную степь» Российской Империи. Смешанные звуки турецкого, греческого и итальянского языков клубятся в воздухе с облаком табачного дыму, поднимающегося из жерл бесчисленных стамбулок[33]; чума, султан, Царьград и палки господствуют во всех разговорах; все понятия ходят в чалмах и желтых туфлях; все чувствования сидят на полу с поджатыми под себя ногами; а в углу заведения жирный и тяжелый турецкий патриотизм, нередко одетый в европейское платье, нежно разлегшись на мягких подушках, заранее опорочивает русские нравы, которых он еще и в глаза не видал, с жаром превозносит все оттоманское и доказывает с чувством глубокого убеждения, что чума не заразительна, что Махмуд величайший человек в мире[34] и что карантин, полиция и паспорта суть выдумка самая бесполезная и самая неблагоприятная.

Прибавьте к тому еще поэзию парадоксов, важно излагаемых путешественниками-наблюдателями, и вы согласитесь, что нет на свете ничего приятнее, как зачумиться и быть запертым в карантине. Английский баронет уверяет меня, что турки самый либеральный народ в мире. Мусье Ж?, родом из Марсели, утверждает, что они вежливее и обходительнее старинных парижских маркизов, и хвалит в особенности влияние янычарской палки на честность и образованность народа. Некто Николаки Болванопуло, греческий дворянин из Фанара[35], производящий свой род от какого-то мясника, возведенного, по его словам, на престол византийских императоров вслед за каким-то менялюю, который был преемником трубача, который царствовал после конопатчика, и так далее, и так далее, толкует мне с утра до вечера о великолепии пашей, о могуществе бостанджи-баши[36] и о превосходстве восточного образа правления. Он говорит, что нет на свете правительства лучше оттоманского, и в доказательство своего мнения приводит и самое его название; оно по-турецки именуется

девлет, то есть «благополучие»; так что ж нужно более?..

Мое воображение воспламеняется. После трехдневного пребывания в карантине я так уже упитан духом турецкого табаку и стамбульских понятий, что если б было возможно, в три прыжка перемахнул бы с Блошиной степи в Константинополь.

Девлет!.. Право, это не дурно!.. Спрашиваю, есть ли там сильные ощущения. Греческий дворянин Болванопуло, который дважды был выколочен палками по пятам могущественным бостанджи-баши, клянется мне честью, что Царьград весь из них составлен, что эта бесподобная столица построена из сильных ощущений, покрыта сильными ощущениями и выкрашена под сильные ощущения и что сам он нарочно приехал в Одессу, чтоб несколько отдохнуть от них в России. А если я пожелаю ощущений другого рода, мягких, теплых, плавящих душу и сердце, то он в особенности рекомендует мне тандур[37]: это большой стол, с большою под низом жаровнею, обставленный от-всуду софами и покрытый огромным, толстым одеялом на вате; в холодное время дамы и мужчины садятся кругом на этих софах, кладут ноги под этот стол, прикрываются по шею этим одеялом и, расположенные в виде розы ветров, беседуют, краснеют от духу жаровни, пучатся, раздуваются и лопаются от счастья. «С тех пор, как люди занимаются механикою,— воскликнул Болванопуло, — нигде еще не изобретено машины для выделки сплетней, интриг, для нежных путей сообщения и теплых ощущений превосходнее тандура!» — «Так и быть! — воскликнул я, — еду в Константинополь; еду посмотреть, как люди живут под сению янычарской дубины

«благополучия», хочу узнать поэзию палки и тандура».

Дело решено: я купил лист гербовой бумаги и подал прошение о выдаче паспорта в Константинополь. Дня через три принесли мне паспорт, писанный по-русски и по-итальянски. Я был обрадован, начал даже делать приготовления к отъезду. Но, рассматривая выданный мне вид, я открыл, что меня назвали в нем, по ошибке, вместо коллежского губернским секретарем, *Segretario di governo*. Моя радость вдруг исчезла; я чувствовал, глядя на эту бумагу, как собственное мое уважение к моему лицу понижалось, понижалось и остановилось двумя градусами ниже, как, напротив, вся природа постепенно возвышалась вокруг меня целым чином выше, оставляя меня в пропасти 12-го класса; я был в отчаянии. Единственное средство к восстановлению прежнего равновесия между моим саном и достоинством окружающих меня предметов было - просить о перемене паспорта с поправкою сделанной ошибки; но греческий дворянин Болванопуло отсоветовал мне эту меру. Основываясь на доказанных на Востоке истинах, он утверждал, что девять десятых хорошего делается на свете по ошибке, а потому нельзя угадать, не послужит ли эта ошибка еще в мою пользу; что восточные не знают никакого толку в секретарях, ибо секретари запрещены Алкораном[38] вместе с взятками; что турки, когда хотят сделать что-нибудь умно, всегда делают наоборот принятому в других землях порядку, и дело выходит прекрасно. Например, они читают книги с конца, от последней страницы к первой, и находят в них более смысла, нежели мы, читая их с начала, от первой страницы к последней; дома строят они, начиная с крыши, а не с фундамента; решение произносят прежде, а доказательство ищут потом, и так далее. Поэтому легко может случиться, что и меня станут они уважать не с головы, а с того конца — что, впрочем, случается с великими людьми не на одном только Востоке. Заключение Болванопуло показались мне новыми, ясными, блистательными. Я перестал думать о перемене паспорта, выкурил еще одну трубку и уехал в Константинополь.

Когда говорю — я уехал, — само собою разумеется, что я отплыл на шведском судне. Мы уже в открытом море. Вот прекрасный случай загнуть крючок человечеству и, придравшись к корабельной веревке или к лоскутку изорванного ветром паруса, разругать добродетель, наплевать в лицо честности, доказать, что в мире нет ничего ни умного, ни священного, и прославиться черноморским Евгением Сю[39]. Я стою на палубе, на пути к бессмертию; я должен воспользоваться моим положением и тут же на месте сострять морской роман, начинив его бурями и шквалами, раздув ветром на четыре тома, напустив туману во все главы и все его страницы нагрузив свирепыми страстями, смоченными в горькой воде, и сырыми, холодными преступлениями, так, чтоб наделить читателя насморком и, в заключение, отвалить его по боку канатом за то, что он еще смеет называться человеком. Где бумага?.. перо?.. чернила?.. Я побежал в каюту. Трещи, человечество! — я сажусь писать морской роман. И схватив перо, в первом порыве вдохновения, я написал бурное заглавие: Куракакубарабурачья,

морской роман барона Брамбеуса. Прекрасно!.. в одном этом заглавии есть довольно яду на четыре тома. Теперь положу перо за ухо и пойду опять на палубу, погляжу на игру неистовых страстей в неподвижных шведах, на коварство шкипера[40], на злодеяния матросов, напитаюсь поэзией соленой воды и приступлю к содержанию. Я поспешно вылез из каюты и обошел все судно. Ветер дул попутный, шведы дремали на палубе. Шкипер пил хладнокровно горячий грог подле руля. Вся поэзия корабля заключалась в смешанном запахе затхлости, смолы и сельдей. Везде скучно; везде сыро. Я возвратился в каюту, лег, уснул и спал двое суток — спал так крепко, как после прочтения пяти морских романов, и проснулся не прежде, как в виду замков, защищающих вход в Царьградский пролив[41], когда шкипер пришел сказать мне, что турецкие таможенные чиновники приехали для осмотра судна.

Выхожу на палубу, чтоб полюбоваться на турецких чиновников. Странное дело! на них нет никакого отличительного знака усердия, хотя они давно служат и вероятно не раз были под судом. Болванопуло прав: Восток совсем не то, что Запад!..

Турецкие чиновники — их было двое — сидели на небольшом ковре, разостланном на палубе, и курили трубки. Перед ними сидел на пятках, как обезьяна, молодой грек в красной чалме, служивший им переводчиком. Увидев меня, они спросили у шкипера, кто я таков. Шкипер предъявил им мой паспорт. Турецкие чиновники развернули его, посмотрели и отдали переводчику, чтоб он растолковал им этот неверный фирман. Грек долго разбирал бумагу и посматривал на меня исподлобья с большим любопытством. Наконец, сказал он им, что, судя по этому фирману, я должен быть великий человек. Турки тотчас поправили полы своего платья и закрыли ими ноги в знак почтения.

Грек продолжал:

— Он русский, то есть

Москов, и называется Андрей Андреевич, то есть

Андрей Андрей-оглу.

— Андарай-оглу!.. — воскликнули с удивлением турецкие чиновники и пустили ртом и носом по длинной струе табачного дыма. — Андарай-оглу!!.. Какое благополучное имя!..

— Что касается до чина, — сказал переводчик, — то он знаменитее баснословного Рустема [42] и выше звезды, мерцающей в хвосте Малой Медведицы. Одним словом, он губернский секретарь, Segretario di governo.

— Аллах! Аллах! — вскричали турки. — Но что за мудрость скрывается в этом звании?

— Это, извольте видеть, очень высокое звание, — отвечал переводчик. — Segretario значит по-турецки

мехреми-сирр, соучастник тайн, а Governo то же, что

девлет, правительство или благополучие. Итак, он соучастник всех тайн русского благополучия.

— Нет силы, ни крепости, кроме как у Аллаха! — воскликнули турки еще громче. — Добро пожаловать, Андарай-оглу эфенди[43]! Взоры наши прояснились от вашего лицезрения. Извольте присесть с нами на ковре гостеприимства.

Москов наш друг; мы рабы вашего присутствия.

Толмач объяснил мне их приветствия. Я уселся с ними на ковре. Оба турецкие чиновника вынули из своих уст трубки и вбили их мне в рот, по правилам восточной учтивости. Как я не знал, что в подобном случае можно было довольствоваться одною, то принял обе и стал курить из двух трубок, пуская дым в две стороны, что внушило туркам еще высшее понятие о моем сане и о моих способностях. После этого они уже не сомневались, что я настоящий «соучастник тайн русского благополучия», и осыпали меня бесконечными вежливостями, чтоб доказать дружбу свою к России.

Спустя две трубки времени — время там считается на трубки табаку — они садятся в лодку и отплывают на берег. Вдруг раздается пушечная пальба со стен замка и вторая лодка подплывает к нам с цветами. Находившийся в ней чиновник просит меня от имени всей Турции принять чистосердечный подарок, объявляя, что и эти выстрелы производятся в честь знаменитому гостю Блистательной Порты, господину губернскому секретарю, в итальянском переводе Segretario di governo, а в турецком соучастнику тайн русского благополучия. Я принимаю цветы и величаво благодарю Турцию от имени всех губернских секретарей. Мы плывем медленно по излучистому проливу; весть о прибытии из России такого сановника, какого никогда еще в Турции не видали и не слыхали, настоящего губернского секретаря,

расходится по берегам Босфора, и изо всех замков приветствуют меня цветами и пушечною пальбою. Болванопуло говорил правду!.. Я убеждаюсь в пользе переводов и решаюсь вперед жить на свете только в переводе. Это тоже поэзия.

Наше судно бросает якорь в заливе, против арсенала. Я выхожу на берег, иду в Перу, где уже моя слава меня опередила, и поселяюсь в главном трактире. Вся Пера в недоумении, Европейские турки и турецкие европейцы стараются узнать, кто я таков, что

девлет, благополучие принимает меня с таким отличием. — Как бы не так?.. я соучастник тайн благополучия! Девлет и губернские секретари понимают друг друга превосходно. — Но тонкие обитатели любопытного предместья, не постигая наших соотношений, все еще ломают себе головы догадками. Европейские посольства и миссии уверены, что я должен быть тайный дипломатический агент, приехавший к Порте с важными предложениями, и выпускают на меня стаю шпионов. Их драгомань[44] из туземцев, в длинном восточном платье, желтых туфлях и огромных, шарообразных колпаках из серой мерлушки[45], насаженных на выбритые головы в виде опрокинутых чугунных горшков, или пневматических колоколов, или гасильников здравого смысла, набив карманы дипломатическими секретами своих держав, кружат около меня, как тени, обтираются и кашляют; я откаш-ливаюсь им отрицательно, даю разуместь, что не покупаю чужих тайн, и они удаляются с недовольным лицом. Старые пероты[46] ищут проведать, не приехал ли я учиться по-турецки, с тем, чтоб устранить их семейства от наследственного ремесла переводчиков, и пугают меня ужасами турецких деепричастий и арабских склонений. Миссионеры умышляют обратить меня в католическую веру. Аптекари являюся с предложением: не угодно ли приказать отравить кого-нибудь? Коконь, сиречь дамы, составляют между собою адский черный заговор — женить меня на месте. Коконицы, или барышни, моются, причесываются, настраивают улыбки и поправляют свои кондогуни[47] в ожидании моего появления. Все тандуры в волнении. Вторжение одного губернского секретаря в Оттоманскую империю потрясло Восток в его основаниях.

Я между тем сидел в трактире, запершись в своей комнате и приставив к дверям плечистого хорвата, принятого мною в лакеи и хорошо знающего город и местные уловки. Я поручил ему защищать меня от посяганий турецких европейцев, и мой хорват Лука, действуя по правилам славянской логики, порядком поколотил нескольких из них, показавшихся ему подозрительнее, и тем доставил мне в Пере еще более весу. Везде есть свое средство заслуживать уважение.

Наконец, начал я выходить из трактира. Как странно вдруг очутиться посреди народа, совершенно различного с нами языком, одеждою и нравами! Здесь все люди кажутся мне добрыми, честными и умными, хотя греческий дворянин Болванопуло предварил меня о противном, — и я долго не могу отличить добродетели от глупости, чувства от плутовства, красоты от корыстолюбия единственно потому, что эти понятия одеты в другое форменное платье, кланяются, кривляются и размахивают руками иначе, нежели у нас. Но полно рассуждать о понятиях; пора идти искать сильных ощущений, которых тоже я нигде не вижу. Неужто Болванопуло обманул меня?

Я знакомлюсь со многими семействами в Пере. С моим появлением в обществах все взоры с любопытством устремляются на таинственного незнакомца, у которого, как сказывают, есть большие деньги. Коконь вскакивают на софы, чтобы приветствовать меня колоссальным поклоном. Коконицы бросают на меня из-под тандурных одеял теплые, пареные взгляды, по такие вялые, так размягченные банным духом жаровни, что в них нет никакой упругости, ни силы. Их отцы и братья, желая быть любезными, рассуждают со мною о чуме и превосходстве ума турецкого перед европейским. Я принят с честью во всех порядочных тандурах, и дремлю в них вместе с хозяевами и гостями. Все находят меня очень любезным.

Когда ж начнутся сильные ощущения?..

Вот они начинаются. Я случайно завел дружбу с синьором Петраки, благородным, богатым и толстым перотом, которого ум и тандур славились тогда в целом предместье. Он почитался образцом хорошего тона: его чубуки были длиннее всех чубуков той части города, кончики его туфлей торчали острее и выше миллиона других кончиков и в его колпаке вмещалось воздуха вдвое против самых знаменитых колпаков в столице. Гордясь своим происхождением от одного из древнейших драгоманов в мире, он считал в своей родословной сорок человек переводчиков и около двухсот толмачей. Его род в продолжение трех с половиною столетий непрерывно переводил с турецкого на языки разных европейских посольств, которые держал в своей драгоманской горсти; в его голове понятия лежали уже переведенные на четыре руки; для удобнейшего приискания он, еще в детских летах, расположил в своем сердце все чувства и патриотизмы по алфавитному порядку восточного словаря Менинского [48], и даже его дети получили от него турецкие души в подлиннике, с готовыми переводами их на французский, английский, итальянский, испанский, португальский, шведский и русский образы мыслей. Я с любопытством и удивлением наблюдал этот, почти непостижимый для тех, которые не бывали в Пере, нравственный феномен, когда синьор Петраки открыл мне свой дом и свое сердце. Я вошел в дом правильно, в большие двери, но внутри дома сбился с пути и, вместо сердца хозяина, забрался в сердце старшей его дочери, коконицы Дуду, в котором завяз по шею.

Любовь! любовь! начало изящного и поэзии, источник людей, обществ, законов, просвещения и политики, луч небесной теплоты, согревавшей мироздание, невзначай пронзивший вновь созданную природу и переломившийся в земной жизни человека!.. Любовь, радуга души, бьющая из светлой, алмазной капли дарованного ей бессмертия и красивую, огненную, волшебную ленту своей опоясывающая бурную атмосферу ума, воображение, яркая молния счастья, быстро, мгновенно прорезывающая мрачное облако нашего быта, но потрясающая сердце и жизнь исполинскою силою — скопленную в одну громовую электрическую искру огня всех страстей, надежд и опасений - слитых в одно волканическое пламя плоти, души, понятий, прошедшего, настоящего и будущности!.. Любовь! райское, очаровательное чувство! ты ниспослана в сию юдоль плача единственно для утешения нижних классов табели о рангах, лишенных права на кресты и ленты. Одни лишь регистраторы, секретари и титулярные советники настоящим образом наслаждаются твоими благодеяниями; им являешься ты во всей своей свежести и красе. Надворные и беспорочные [49] питаются уже твоими обломками; статским иногда еще бросаешь ты из милости кусок разогретой сладости, а превосходительные принуждены покупать тебя мерзлую, полуфунтиками и на чистые деньги, вместе с французским нюхательным табаком и фланелью. И чтоб в полной мере упоиться твоими прелестями, надобно взвалить свой бедный чин на плеча и, оставив холодную Чухонию, идти за тобою на берега Босфора. Я знаю это по опыту. Увидев божественную коконицу Дуду, я тотчас влюбился в нее со всю пылкостью 10-го класса; она тотчас влюбилась в меня со всю жарою, со всем зном Востока — и мы были счастливы, как турецкий

девлет, как благополучие.

Ах, если б могли вы видеть мою коконицу, нежащуюся в богатом тандуре! Это бессмертная нимфа, с полною белою грудью, ожидающая... Но нет! фразы классического слога не в состоянии выразить ее красоты и прелести. Одна только смелая, резкая кисть романтизма может дать об них понятие: это роза южных, горящих роскошью садов, цветущая под атласным одеялом на вате, это блистательный помысл поэта, мечтающего о прекрасном в зимнюю ночь, греющий ноги под столом у горячей, как его душа, жаровни; это чудо! чудо! чудо!..

Я провожу с нею бесподобные утра. Мое сердце растет, пучится, расширяется от любви и тандура, так, что могло бы вместить в себе все сладостные чувства Оттоманской империи.

Я возвращаюсь от нее домой в небесном восхищении, прыгая через кровавые,

обезглавленные, посиневшие туловища казненных гяуров, лежащие по углам улиц на кучах навоза, и мое сердце корчится, трепещет, как ляжка лягушки, терзаемая действием гальванического столба.

Мы отправляемся в легких и красивых лодках на рыбную ловлю, весело мчимся по Босфору и приказываем закинуть сеть на наше счастье. Мягкая ручка коконицы роскошно дрожит в моей, сильно, страстно дрожащей руке; мы горим, мы в упоении — но желаем еще гадать о будущем нашем блаженстве по обилию закупленной нами в воде добычи. Вдруг рыбаки вытаскивают, на наше счастье, одного окуня и две страшные, черные, ослизлые янычарские головы. Наше упоение, наше блаженство мгновенно превращается в судорожную рвоту.

В какой стране любовь доставляет столько и таких высоких, сильных поэтических ощущений?.. Мое сердце находится здесь в непрерывном раздражении. Я здесь чувствую; я живу.

Лука!.. Лука!.. одеваться! Бегу, лечу к моей Дуду, к несравненной коконице с обворожительными глазами газели. Я застану ее одну в тандуре. Сегодня для меня самый великий день в жизни: она меня ожидает!..

Я оделся щегольски; зеркало отразило мое самолюбие в светлой, неприступной глубине своей с приветливою улыбкою, и я вышел на улицу. Любовь сообщала моим ногам быстроту ног кота, преследующего по крышам домов драгоценный предмет своих мечтаний и своей страсти. Я дышал любовью, счастьем и нетерпением и прыгал через ручьи, через лужи, через кучи сору. Пронесшись через множество кривых и тесных улиц, я уже был в виду дверей, за которыми сидели мои надежды, как в соседнем доме отворилось окно и кто-то нечаянно вылил на меня котел горячей помойной воды.

Испуг, негодование, печаль сперлись в моей груди с нежными чувствами и чуть не удушили меня в своей борьбе. Я не понимал, что такое случилось со мною. Какое-то новое, неведомое ощущение завладело моим телом, обонянием и моею душою. Наконец, увидел я, что утопаю в поэзии помоев. Представьте же себе мое положение!.. Моя любовь обдана кипятком!.. С моего самолюбия струится грязная, вонючая вода!.. Счастье мое засорено бараными костями, куриными перьями, кусками мяса, луку, моркови, капусты!.. Прочитайте несколько глав неподражаемого романа «Церковь Парижской богородицы»[50], ежели хотите получить ту высокую тошноту, какую ощутил я, углубляясь взором и мыслию в подробности романтического моего приключения. Я долго смотрел на себя, погруженный в отвлеченное созерцание мерзости. Но бешенство вдруг взрыло мою внутренность: я повернул назад и помчался на квартиру, сопровождаемый презрительными взглядами оттоманских бородачей и наглым хохотом турчанок.

Прибегаю: дверь заперта; в доме ни живой души. Выскакиваю на улицу искать моего хорвата и нигде его не вижу. Но перед дворцом испанского посольства стоит огромная толпа народа, к которой пристают все прохожие. Я бегу туда, пробираюсь внутрь толпы и открываю, что два турка, под председательством третьего, по-видимому, чиновника, секут моего Луку палками по пятам. Любопытство видеть незнакомое мне действие, и сострадание, и гнев волнуют мое сердце. Я мечусь, кричу, ругаю, хочу защищать своего служителя; но он протягивает ко мне руку и с ужасным, пыточным кривлянием лица и губ покорнейше просит меня не прерывать операции. Турецкий чиновник, с своей стороны, важно представляет мне, чтоб я не вмешивался в происходящее, потому что это дело благополучное, то есть касающееся благополучия, одним словом, государственное. Я принужден к прочим моим чувствам прибавить еще недоумение. К счастью, один знакомый грек, драгоман галатского воеводы, или полицеймейстера, попадаетеся мне на глаза.

— Синьор Мавроплутато! — кричу я ему. — Объясните мне, ради бога, что это значит?

Мавроплутато отводит меня в сторону и шепчет на ухо, что это действительно «благополучное» дело: кто-то из черни обидел испанского посланника, который пожаловался дивану[51], требуя примерного наказания виновных. «Кто их отыщет!.. — присовокупил синьор Мавроплутато с жаром и с чувством искреннего убеждения.— А правосудие вещь священная и должно быть соблюдено в отношении ко всякому; так ли?.. Поэтому мы наняли вашего хорвата, который за двести пиастров вызвался получить восемьдесят ударов по пятам перед дворцом посольства, для удовлетворения чести его превосходительства».

Я вырвал ключ из рук гнусного спекуланта и пошел переодеваться без его содействия. Ища платья, наряжаясь, суетясь, я попеременно сердился на Луку, смеялся над турецким правосудием и умильно ласкал в мысли белую ручку Дуду. Голова уже кружилась у меня от этого вихря чувств!.. Я оделся, как только мог, приличнее и скорее, и опять побежал в Галату [52]. И опять приключение!.. Среди мечтаний и сладких надежд, на повороте одного темного переулка я неожиданно попался в собачье сражение. Со-баки смежной улицы поссорились за выброшенную в окно кость с соплеменниками своими, живущими на мостовой переулка, ополчились на них поголовно и напали с намерением завоевать их отечество. Как жалко, что тут не было со мною г. Бальзака[53]! Вот глава для философского романа!.. Здесь он нашел бы, немножко покопавшись в грязи, первоначальное понятие о собственности, отечестве и войне. Но между тем, как я сожалел об отсутствии великого наблюдателя в желтой обертке, обе враждующие стороны, оставив кость, накинулись на меня с неслыханным ожесточением. Я оборонялся всеми силами от четвероногих полчищ. Разъяренные животные рвали на мне платье, кусали мои ноги, тормозили меня, как старую подошву. Я кричал, визжал, прыгал вверх на аршин[54] и приходил в исступление. Что значит быть без рук и без языка!.. Вздор — мучения человека, приговоренного к смерти, в последний день его жизни!.. Что за мудреная уловка удавить свою жену для сильнейшего выражения угрызения совести или при всяком новом желании видеть кусок ослиной кожи уменьшающимся в его объеме и чахотку усиливающейся в своей груди!.. Чтоб освежить душу и сердце истинно раздирающими чувствами, надо пылать любовью, мечтать о счастье и быть терзаемым сотнею собак. Уф!.. не выдержу более!.. спасите меня!.. Добрые люди разогнали собак, и я, поддерживая руками висящие полосы своих брюк, прижимая к себе лоскутья изорванных рукавов, стоня, хромой, искусанный, усталый, снова воротился на квартиру.

Мой Лука сидит спокойно на скамейке у дверей дома. Я, проходя мимо, приказываю ему идти со мною наверх. Он извиняется. Я повторяю приказание. Он отвечает, что не пойдет. Рассердясь на его дерзость, я хочу дать ему пощечину. Хорват, испугавшись, внезапно устраняет голову в сторону и с ужасным криком падает на землю. Кровь брызжет по его лицу. Он в обмороке. Я в отчаянии. На крик мой прибегают люди, берут его на руки и переносят в комнату. Тут объяснилась вся задача. Отсчитав ему по условию восемьдесят ударов, когда пришлось платить деньги, турецкий ага[55] наперед потребовал у него квитанции во взносе харача, или подушного. Лука предъявил поддельный ярлык[56], купленный им накануне за полтора пиастра, и чиновник, на точном основании финансового устава, приказал приколотить его за ухо гвоздем к стене дома, положив на ухе тот самый ярлык, а следующие ему двести пиастров за восстановление дружеских сношений между Блистательною Портою и Испаниею разделил с синьором Мавроплутато. Они удалились. Мой слуга сидел в этом положении, когда я замахнулся на него рукою: страх заставил его сделать движение головою, и он разорвал себе ухо. Я проклинал свою вспыльчивость, плутовство турок, греков и славян и гордость испанцев. Раскаяние, боль от укушений, скорбь о страданиях слуги, беспокойство и негодование обуревали удрученные потрясениями душу и чувства мои — и, среди мрака этой бури, являлся моему воображению светлый образ возлюбленной коконицы Дуду, окруженной огненными, радужными лучами страсти — и взволнованные мысли немедленно усмирялись, выглаживали свою поверхность, облекались тишью и рдели отраженным блеском волшебного образа, подобно лицу озера в безветренное утро, озаряемому солнцем, мелькнувшим из-за удаляющейся тучи,— и я опять мечтал о счастье, пока боль или воспоминания снова не повергли меня в волнение. В то же время я оттирал свои ноги

камфорю, препоручал уху Луки хозяйке дома, искал по комодам чистого платья, рылся, ворочал, раскидывал вещи и приводил наружность свою в порядок. Наконец, я был готов, но не в силах предпринять пешком нового странствования из Перы в Галату. Надобно было нанять турецкую колесницу с высокою крышею, вызолоченную, расписанную странными узорами, увешанную кистями и побрякушками и запряженную парю волов, и в этом классическом экипаже отправиться к любезной.

Я влез в уродливую повозку и поехал тихим шагом под прикрытием двух погонщиков, вооруженных дубинами, стиснув накрепко зубы, чтоб от ударов колес о мостовую душа не выскочила из тела. Пока притащились мы на место, я имел довольно времени для размышления о чрезвычайной занимательности приключений, сопровождающих самые простые любовные свидания в Царьграде. Тут, по крайней мере, есть поэзия!.. Какая разница с теми ничтожными, безвкусными событиями, которые наши романисты вводят в свои рассказы в подобных случаях!.. Я должен был отдать преимущество турецкой природе перед самым неистовым воображением европейской литературной области; но, получив жестокое колотье в боку от поездки на волах, признаюсь, так уже был измучен сильными ощущениями, что, если б пришлось вынести еще одно лишнее, я закричал бы: «Караул!»... Так мне тогда казалось: я не знал, что еду на новые, гораздо опаснейшие опыты!..

Коконица! коконица!.. посмотрите: она все еще ожидает меня в тандуре! Она сидит и скучает; сидит неподвижно, как образованность Востока!.. Милая коконица!.. Она плачет!.. Но слезы ее пресеклись, как скоро я уселся подле нее в тандуре, прикрылся одеялом, взял ее ручку и спаял мой взор с ее взором. Наши души, чувства, мысли вдруг соединились с такою же жадностью, с таким же кипением, брожением, шипением, как серная кислота с известью, и образовали одну плотную массу любви и счастья. Мы молчали, горели, были без памяти, не знали, живы ли мы или мертвы, и только чувствовали, что нам жарко и приятно. В этом очарованном состоянии мы забыли о целом свете и о жаровне и даже не заметили того, что одеяло, софа, ковер и пол горели в другом углу, по нашему примеру. Мы спохватились, когда уже дым начал душить нас, и со страхом выскочили из тандура. Через минуту вся комната была объята пламенем. В доме поднялась тревога. Люди кинулись собирать дорогие вещи, господа спасались, не думая о вещах, ни о людях; я схватил мою любезную на руки и вынес на улицу. Дом синьора Петраки уже представлял вид пылающего костра. Огонь быстро сообщался смежным строениям и бежал молнией по крышам, вдоль улицы. Пожар распространяется по всему предместью. Мы с коконицею Дуду сожгли нашу любовь 9580 домов.

Крик, плач и отчаяние жителей, дым и треск пожара, горы пламени, взлетающие одни за другими на воздух с огненным градом горящих головней, гул общественного бедствия и тучи проклятий, изрыгаемых несчастными, поражают меня ужасом. Я смущаюсь, теряю присутствие духа, считаю себя виновником пожара, зажигателем, извергом, несчастнейшим и презреннейшим из людей. Мне суждено было еще испытать над собою адское действие угрызений совести!.. Колена дрожат подо мною; сердце бьется с болью; палящий, убийственный жар отчаяния кружит по всем моим жилам и пожирает последние силы...

А тут еще Дуду рыдает в моих объятиях! Я утешаю ее всеми мерами, сам упавая под бременем горя...

Сколько поэзии! Какие романтические ощущения!..

Семейство синьора Петраки перешло на временное жительство в слободу Сан-Деметрио, в дом одного знакомого грека. Я побежал на квартиру, взял с собою несколько сот червонных, закупил в городе разных вещей, в которых нуждались мои погорелые приятели, принял на себя попечение об них и доказательствами искренней дружбы старался вознаградить им потерю, причиненную искреннею моею любовью. Мало-помалу умы их привыкли к новому положению, и синьор Петраки, по кратком рассуждении о непостижимости судьбы, глупости

рода человеческого и редком уме турок, приказал набить себе трубку и вышел на террасу наблюдать ход пожара и обдумывать план нового дома, который хотел он начать строить послезавтра. Я остался в комнате с его дочерью.

Она была бледна и сидела в углу софы, погруженная в глубокую думу. Напрасно истощал я свое красноречие, чтоб извлечь ее из летаргического усыпления понятий. Она молчала и смотрела на меня горящими удивительным огнем глазами, по выпуклости которых волновалась светлая слеза, не решавшаяся расстаться с бархатными ее ресницами. Я перестал говорить. Она долго еще смотрела на меня неподвижно и вдруг бросилась мне на шею. Наши уста встретились в первый раз в жизни. Боже мой! кто в силах описать...? какой язык способен к тому, чтоб изобразить...? да и кто смеет подумать, чтоб звуками земного голоса можно было выразить небесную сладость первого любовного поцелуя?.. Она неизъяснима, но я назову ее электричеством души. Она чувствуется только однажды в жизни — и чувствуется сильно, выпренно, молниеобразно — и быстро исчезает, — и когда исчезнет, то же самое воображение, которое недавно упивалось ею, уже не в состоянии вторично ее себе представить. Я, по крайней мере, даже в самую минуту ощущения не умел выразить ее никакими словами, хотя она была разлита по всему моему телу, по всей душе, страстям и чув-ствам и сама, казалось, говорила через меня. Трепеща от радости, от восторга, от блаженства, от роскошного смятения и судорожно прижимая к сердцу любезную, я мог произнести одно только слово — слово, в котором было сосредоточено, сжато и заключено все мое существование — слово:

— Я счастлив!

— Я зачумлена!.. — сказала она, дрожа и пряча за моим лицом свои пламенеющие ланиты.

— Как, друг мой?.. — вскричал я, невольно вздрогнув от страху.

— Да, мой друг!.. я зачумлена. В этом доме есть язва. Я неосторожно коснулась ее рукою... Я чувствую ее в моей груди...

Она сказала это с такою ангельскою беспечностью, с такою невинностью, что я покраснел, стыдясь своего испуга. Я посмотрел ей в глаза и забыл об опасности. Ужасное впечатление, произведенное во мне именем чумы, уступило место горькой, глубокой, пронзительной печали. «Несчастное дитя!.. — подумал я про себя, подпирая ее голову рукою, — ты была послана на землю, чтоб испытать сладость любви, осчастливить одного человека и с его сердцем воротиться на небо — и этот человек, на первом шагу, похищает у тебя спокойствие, ввергает тебя в пожар, а из пожара в язву!..»

— Ангел мой! — воскликнул я, плача, подобно ей, — наша судьба решена. Поцелуй меня еще раз: мы умрем вместе. Я воображаю себе всю прелесть умереть от чумы на твоих устах, испить смертельный яд из твоего дыхания. Не станем, друг мой, сожалеть о жизни: она, быть может, приготавлила нам чашу уксусу и желчи. Подумай, какое счастье, какое неземное ощущение: мы еще живы и уже разлагаемся внутри наших тел!.. мы тут говорим с тобою о наших чувствах, обожаем, клянемся вечно обожать друг друга, и уже мертвы, уже гнием, и наши внутренности, наши сердца превращаются в смрадную гробовую материю!.. Поцелуй меня еще раз!.. еще раз!.. и еще!.. Теперь одного лишь остается желать — чтоб немногие предоставленные нам минуты жизни могли мы посвятить ласкам нашей страсти, а с последним поцелуем расплыться в гной, который люди подберут осторожно и выкинут с отвращением... — Ты страждешь, любезная Дуду?..

— Нет, я очень, очень счастлива!.. — отвечала она с восхищением.

И все эти слова были прерываемы частыми, сильными, раскаленными сугубым огнем любви и чумы, поцелуями, а последние поцелуи были расторгнуты внезапным кружением голов и смертельною тошнотою.

Я упал на софу...

Далее не помню и не знаю, что со мною делалось. _____

Комната в нижнем ярусе. В комнате совершенно пусто. В углу вздутая зола сожженных бумаг, белья и платья. На середине комнаты дымящийся кусок буры[57]. У стены на полу солома. На соломе я, весь вымазанный деревянным маслом.

Дверь отворилась, и чья-то рука просунула в комнату простой деревянный стул. Это знак скорого прибытия моего доктора, Скуколини, который теперь, вероятно, моется хлориною в сенях.

Вошел человек лет сорока, закутанный в плащ из вощанки, и сел у дверей на стуле, нюхая стклянку с уксусом четырех воров.

— Ну, что?.. — спросил он. — Каков ваш паховик?

— Лопнул сегодня поутру, — отвечал я.

— Поздравляю вас от всего сердца. Теперь вы вне опасности. Только берегитесь!.. никаких сильных ощущений!

— Они уже мне надоели. Последнее отняло у меня всю охоту к ним. Ну, что, любезный доктор: узнали ли вы что-нибудь о семействе синьора Петраки?

— Вам теперь не следует о том думать, — возразил он хладнокровно. — Принимайте декокт, который я прописал вам. Когда вам будет получше, я приду потолковать с вами о физиологии.

Он ушел, и я облился слезами. Я прочитал в его глазах то, что он хотел скрыть от меня. Я плакал, плакал, плакал столько, что моя чума превратилась в горячку. Доктор на меня рассердился и с благородным гневом прописал слабительное.

Когда я стал выздоравливать, память моя так ослабела, что я с трудом узнавал прежних моих знакомцев. Мое воображение было лишено не только пылкости движений, но и воспоминаний. Томительная скука заняла в нем место прошедшего и настоящего; отсутствие страстей и желаний делало для меня будущность предметом бесполезной роскоши. Даже мои понятия были несколько туповаты.

Мой приятель, доктор Скуколини, навещал меня всякий день, и иногда проводили мы с ним по несколько часов, беседа о разных ученых предметах.

Он говорил со мною о политике и истории. У меня затмилось в голове.

Он перешел к теории изящного и старался заставить меня постигнуть красоту идеальную, красоту красивее самой природы. Я постигнул, но мой ум значительно притупился от такого напряжения.

Потом он начал излагать мне древности и медали, до которых сам был большой охотник. Я сделался совершенно тупым, скучным и в то же время почувствовал себя весьма ученым.

И чем пуще я глупел, тем больше становился ученым!.. Не правда ли, что это странно?

Я обратил мозг свой в амбар для складки разбитых, заржавелых, ветхих, выброшенных людьми из головы или вновь открытых ими в старом горшке сведений. И так пристрастился я

было к новому своему ремеслу, что не понимал возможности другого удовольствия, как только - читать и ничего не чувствовать, читать единственно для наслаждения памяти. Я уже не думал, а только помнил, был весь составлен из выписок, примечаний и отметок, и все мои чувства выражал NB — нотабеною[58]. Иногда мне казалось, будто я страница старинного текста и сижу на высокой выноске, нашпигованной цитатами и объяснениями. Это было очень смешно, но я уже не смеялся: я был ученый.

Кстати, если вы еще не спите, то я сообщу вам небольшой отрывок из моих ученых путешествий — отрывок небольшой, но такой скучный, такой тяжелый, что сами вы удивитесь моей учености.

III

УЧЕНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА МЕДВЕЖИЙ ОСТРОВ

Итак, я доказал, что люди, жившие до потопа, были гораздо умнее нынешних: как жалко, что они потонули!..

Барон Кювье [59]

Какой вздор!..

Гомер в своей «Илиаде»

.....

...14 апреля (1828) отправились мы из Иркутска в дальнейший путь, по направлению к северо-востоку, и в первых числах июня прибыли к Берендинской станции, проехав верхом с лишним тысячу верст. Мой товарищ, доктор философии Шпурцманн, отличный натуралист, но весьма дурной ездок, совершенно выбился из сил и не мог продолжать путешествие. Невозможно представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, согнутого дугой на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змеиными кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломою сусликами и птицами, из которых одного ястреба особенного рода, за недостатком места за спиною и на груди, посадил он было у себя на шапке. В селениях, через которые мы проезжали, суеверные якуты, принимая его за великого странствующего шамана, с благоговением подносили ему кумысу и сушеной рыбы и всячески старались заставить его хоть немножко пошаманить над ними. Доктор сердился и бранил якутов по-немецки; те, полагая, что он говорит с ними священным тибетским наречием и другого языка не понимает, еще более оказывали ему уважения и настоятельнее просили его изгонять из них чертей. Мы хохотали почти всю дорогу.

По мере приближения нашего к берегам Лены вид страны становился более и более занимательным. Кто не бывал в этой части Сибири, тот едва ли постигнет мыслию великолепие и разнообразие картин, которые здесь, на всяком почти шагу, прельщают взоры

путешественника, возбуждая в душе его самые неожиданные и самые приятные ощущения. Все, что Вселенная, по разным своим уделам, вмещает в себе прекрасного, богатого, пленительного, ужасного, дикого, живописного: съезженные хребты гор, веселые бархатные луга, мрачные пропасти, роскошные долины, грозные утесы, озера с блестящею поверхностью, усеянную красивыми островами, леса, холмы, рощи, поля, потоки, величественные реки и шумные водопады — все собрано здесь в невероятном изобилии, набросано со вкусом или установлено с непостижимым искусством. Кажется, будто природа с особенным тщанием отделила эту страну для человека, не забыв в ней ничего, что только может служить к его удобству, счастью, удовольствию; и, в ожидании прибытия хозяина, сохраняет ее во всей свежести, во всем лоске нового изделия. Это замечание неоднократно представлялось нашему уму, и мы почти не хотели верить, чтоб, употребив столько старания, истощив столько сокровищ на устройство и украшение этого участка планеты, та же природа добровольно преградила вход в него любимому своему питомцу жестоким и негостеприимным климатом. Но Шпурцманн, как личный приятель природы, получающий от короля ганноверского деньги на поддержание связей своих с нею, извинял ее в этом случае, утверждая положительно, что она была принуждена к тому внешнею силою, одним из великих и внезапных переворотов, превративших прежние теплые края, где росли пальмы и бананы, где жили мамонты, слоны, мастодонты[60], в холодные страны, заваленные вечным льдом и снегом, в которых теперь ползают белые медведи и с трудом прозябают сосна и береза. В доказательство того, что северная часть Сибири была некогда жаркою полосой, он приводил кости и целые остовы животных, принадлежащих южным климатам, разбросанные во множестве по ее поверхности или вместе с деревьями и плодами теплых стран света погребенные в верхних слоях тучной ее почвы. Доктор был нарочно отправлен Геттингенским университетом[61] для собирания этих костей и с восторгом показывал на слоновый зуб или винную ягоду, превращенные в камень, которые продал ему один якут близ берегов Алдана. Он не сомневался, что до этого переворота, которым мог быть всеобщий потоп или один из частных потопов, не упомянутых даже в св. Писании, в окрестностях Лены вместо якутов и тунгусов обитали какие-нибудь предпотопные индийцы или итальянцы, которые ездили на этих окаменелых слонах и кушали эти окаменелые винные ягоды.

Ученые мечтания нашего товарища сначала возбуждали во мне улыбку; но теории прилипчивы, как гнилая горячка, и таково действие остроумных или благовидных учений на слабый ум человеческий, что те именно головы, которые сперва хвастают недоверчивостью, мало-помалу напитавшись летучим их началом, делаются отчаянными их последователями и готовы защищать их с мусульманским фанатизмом. Я еще спорил и улыбался, как вдруг почувствовал, что окаянный немец, среди дружеского спора, привил мне свою теорию; что она вместе с кровью расходится по всему моему телу и скользит по всем жилам; что жар ее бьет мне в голову; что я болен теориею. На другой день я уже был в бреде: мне беспрестанно грезились великие перевороты земного шара и сравнительная анатомия, с мамонтовыми челюстями, мастодонтовыми клыками, мегалосаурами, плезиосаурами, мегалотерионами[62], первобытными, вторичными и третичными почвами. Я горел жаждою излагать всем и каждому чудеса сравнительной анатомии. Быв нечаянно застигнут в степи припадком теории, за недостатком других слушателей, я объяснял бурятам, что они, скоты, не знают и не понимают того, что сначала на земле водились только устрицы и лопушник, которые были истреблены потопом, после которого жили на ней гидры, драконы и черепахи и росли огромные деревья, за которыми опять последовал потоп, от которого произошли мамонты и другие колоссальные животные, которых уничтожил новый потоп; и что теперь они, буряты, суть прямые потомки этих колоссальных животных. Потопы считал я уже такою безделицею — в одном Париже было их четыре![63] — такою, говорю, безделицею, что для удобнейшего объяснения нашей теории тетушке, или, попросту, в честь великому Кювье, казалось, я сам был бы в состоянии, при маленьком пособии со стороны природы, одним стаканом пуншу произвести всеобщий потоп в Торопецком уезде.

Наводняя таким образом обширные земли, искореняя целые органические природы, чтоб на

их месте водворить другие, переставляя горы и моря на земном шаре, как шашки на шахматной доске, утомленные спорами, соображениями и походом, прибыли мы на Берендинскую станцию, где светлая Лена, царица сибирских рек, явилась взорам нашим во всем своем величии. Мы приветствовали ее громогласным — ура! Доктор Шпурцманн снял с шапки своего ястреба, поставил в два ряда на земле все свои чучелы и окаменелости, повесил барометры на дереве и, улегшись на разостланном плаще, объявил решительно, что верхом не поедет более ни одного шагу. Я тоже чувствовал усталость от верховой езды и желал несколько отдохнуть в этом месте. Прочие наши товарищи охотно согласились со мною. Один только достопочтенный наш предводитель обербергпробирмейстер[64] 7-го класса, Иван Антонович Страбинских, следовавший в Якутск по делам службы, негодовал на нашу леность и понуждал нас к отъезду. Он не верил ни сравнительной анатомии, ни нашему изнеможению и все это называл пустою теориею. В целой Сибири не видал я ума холоднее: доказанной истины для него было недовольно; он еще желал знать, которой она пробы. Его сердце, составленное из негорючих ископаемых веществ, было совершенно непреступно воспламенению. И когда доктор клялся, что натер себе на седле окончность позвоночной кости, он и это причислял к разряду пустых теорий, ни к чему не ведущих в практике и по службе, и хотел наперед удостовериться в истине его показания своей пробирною иглою. Иван Антонович Страбинских был поистине человек ужасный!

После долгих переговоров мы единогласно определили оставить лошадей и следовать в Якутск водою. Иван Антонович, как знающий местные средства, принял на себя приискать для нас барку, и 6-го июня пустились мы в путь по течению Лены. Берега этой прекрасной, благородной реки, одной из огромнейших и безопаснейших в мире, обставлены великолепными утесами и убраны непрерывною цепью богатых и прелестных видов. Во многих местах утесы возвышаются отвесно и представляют взорам обманчивое подобие разрушенных башен, замков, храмов, чертогов. Очарование, производимое подобным зрелищем, еще более укрепило во мне понятия, почерпнутые из рассуждений доктора, о прежней теплоте климата и цветущем некогда состоянии этой чудесной страны. Предаваясь влечению утешительной мечты, я видел в Лене древний сибирский Нил и в храмообразных ее утесах развалины предпотопной роскоши и образованности народов, населявших его берега. И всяк, кто только одарен чувством, взглянув на эту волшебную картину, увидел бы в ней то же. После каждого наблюдения мы с доктором восклицали, восторженные: «Быть не может, чтоб эта земля с самого начала всегда была Сибирью!» — на что Иван Антонович всякий раз возражал хладнокровно, что с тех пор, как он служит в офицерском чине, здесь никогда ничего, кроме Сибири, не бывало.

Но кстати о Ниле. Я долго путешествовал по Египту и, быв в Париже, имел честь принадлежать к числу усерднейших учеников Шампольона Младшего[65], прославившегося открытием ключа к иероглифам. В короткое время я сделал удивительные успехи в чтении этих таинственных письмен; свободно читал надписи на обелисках и пирамидах, объяснял мумии, переводил папирусы, сочинял иероглифические каймы для салфеток, иероглифами писал чувствительные записки к французенкам и сам даже открыл половину одной египетской, дотоле неизвестной буквы, за что покойный Шампольон обещал доставить мне бессмертие, упомянув обо мне в выноске к своему сочинению. Правда, что г. Гульянов[66] оспаривал основательность нашей системы и предлагал другой, им самим придуманный способ чтения иероглифов, по которому смысл данного текста выходит совершенно противный тому, какой получается, читая его по Шампольону; но это не должно никого приводить в сомнение, ибо спор, заведенный почтенным членом Российской Академии с великим французским египтологом, я могу решить одним словом: метода, предначертанная Шампольоном, так умна и замысловата, что, ежели египетские жрецы в самом деле были так мудры, какими изображают их древние, они не могли и не должны были читать своих иероглифов иначе, как по нашей методе; изобретенная же г. Гульяновым иероглифическая азбука так нехитра, что если где и когда-либо была она в употреблении, то разве у египетских дьячков и пономарей, с которыми мы не хотим иметь и дела.

В проезд наш из Иркутска до Берендинской станции я неоднократно излагал Шпурцманну иероглифическую систему Шампольона Младшего; но верхом очень неловко говорить об иероглифах, и упрямый доктор никак не хотел верить в наши открытия, которые называл он филологическим мечтательством. Как теперь находились мы на барке, где удобно можно было чертить углем на досках всякие фигуры, я воспользовался этим случаем, чтоб убедить его в точности моих познаний. Сначала мой доктор усматривал во всем противоречия и недостатки; но по мере развития остроумных правил, приспособленных моим наставником к чтению неизвестных письмен почти неизвестного языка, недоверчивость его превращалась в восхищение, и он испытал над собою то же волшебное действие вновь постигаемой теории, какое недавно произвели во мне его сравнительная анатомия и четыре парижские потопа. Я растолковал ему, что, по нашей системе, всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, изображающая известное понятие, или вместе буква и фигура, или ни буква, ни фигура, а только произвольное украшение почерка. Итак, нет ничего легче, как читать иероглифы: где не выходит смысла по буквам, там должно толковать их метафорически; если нельзя подобрать метафоры, то позволяется совсем пропустить иероглиф и перейти к следующему, понятнейшему. Шпурцманн, которому и в голову никогда не приходило, чтобы таким образом можно было дознаваться тайн глубочайшей древности, почти не находил слов для выражения своего восторга. Он взял все, какие у меня были, брошюры разных ученых об этом предмете и сел читать их со вниманием. Прочитавши, он уже совершенно был убежден в основательности сообщенной мною теории и дал мне слово, что с будущей недели он начнет учиться чудесному искусству читать иероглифы; по возвращении же в Петербург пойдет прямо к Египетскому мосту[67], виденному им на Фонтанке, без сомнения, неправильно называемому извозчиками Бердовым и гораздо древнейшему известному К. И. Берда[68], и, не полагаясь на чужие толки, будет сам лично разбирать находящиеся на нем иероглифические надписи, чтоб узнать с достоверностью, в честь какого крокодила и за сколько столетий до Р. Х. построен этот любопытный мост.

Наконец увидели мы перед собою обширные луга, расстилающиеся на правом берегу Лены, на которых построен Якутск. Июня 10-го прибыли мы в этот небольшой, но весьма красивый город, изящным вкусом многих деревянных строений напоминающий царскосельские улицы, и остановились по разным домам, к хозяевам которых имели мы рекомендательные письма из Иркутска. Осмотрев местные достопримечательности и отобедав поочередно у всех якутских хлебосолов, у которых нашли мы сердце гораздо лучше их «красного ротвейну», всякий из нас начал думать об отъезде в свою сторону. Я ехал из Каира в Торопец и, признаюсь, сам не знал, каким образом и зачем забрался в Якутск; но как я находился в Якутске, то, по мнению опытных людей, ближайший путь в Торопец был – возвратиться в Иркутск и, уже не связываясь более ни с какими натуралистами и не провожая приятелей, следовать через Тобольск и Казань на запад, а не на восток. Доктор Шпурцманн ехал без определенной цели – туда, где, как ему скажут, есть много костей. Иван Антонович Страбинских отправлялся к устью Лены, имев поручение от начальства обозреть его в отношениях минералогическом и горного промысла. Мой натуралист тотчас возымел мысль обратить поездку обербергпробирмейстера 7-го класса на пользу сравнительной анатомии и вызвался сопутствовать ему под 70-й градус северной широты, где еще надеялся он найти средство проникнуть и далее, до Фадеевского Острова и даже до Костяного пролива.

Утром курил я сигарку в своей комнате, наблюдая с ученым вниманием, как табачный дым рисуется в сибирском воздухе, когда Шпурцманн вбежал ко мне с известием, что завтра отправляется он с Иваном Антоновичем в дальнейший путь на север. Он был вне себя от радости и усердно приглашал меня ехать с ним туда, представляя выгоды этого путешествия в самом блистательном свете — занимательность наших ученых бесед — случай обозреть величественную Лену во всем ее течении и видеть ее устье, доселе не посещенное ни одним филологом, ни натуралистом — удовольствие плавать по Северному океану, среди ледяных гор и белых медведей, покойно спящих на волнуемых бурей льдинах — счастье побывать за 70-м градусом широты, в Новой Сибири и Костяном проливе, где найдем пропасть

прекрасных костей разных предпотопных животных – наконец, приятно совокупить вместе наши разнородные познания, чтоб сделать какое-нибудь важное для науки открытие, которое прославило б нас навсегда в Европе, Азии и Америке. Чтоб подстрекнуть мое самолюбие, тонкий немец обещал доставить мне лестную известность во всех зоологических собраниях и кабинетах ископаемых редкостей, ибо, если в огромном числе разбросанных в тех странах островов удастся ему открыть какое-нибудь неизвестное в ученом свете животное, то, в память нашей дружбы, он даст этому животному мою почтеннейшую фамилию, назвав его мегало-брамбеусотерион, велико-зверем Брамбеусом или как мне самому будет угодно, чтоб ловче передать мое имя отдаленным векам, бросив его вместе с этими костями голодному потомству. Хотя, сказать правду, и это весьма хороший путь к бессмертию, и многие не хуже меня достигли им громкой знаменитости, однако ж к принятию его предложения я скорее убедился бы следующим обстоятельством, чем надеждою быть дружески произведенным в предпотопные скоты. Доктор напомнил мне, что вне устья Лены находится известная пещера, которую, в числе прочих, Паллас и Гмелин[69] старались описать по собранным от русских промышленников известиям, весьма сожалея, что им самим не случилось видеть ее собственными глазами. Наши рыбаки называют ее «Писанною Комнатою», имя, из которого Паллас сделал свой *Pisanoi Komnat*[70] и которое Рейнеггс перевел по-немецки *das geschriebene Zimmer*[71]. Гмелин предлагал даже снарядить особую экспедицию для открытия и описания этой пещеры. Впрочем, о существовании ее было уже известно в средних веках. Арабские географы, слышавшие об ней от харасских купцов, именуют ее

Гар эль-китабе , то есть «Пещерою письмен», а остров, на котором она находится,

Ард эль-гар , или «Землею пещеры»[72]. Китайская Всеобщая География, приводимая ученым Клапротом[73], повествует об ней следующее: «Недалеко от устья реки

Ли-но есть на высокой горе пещера с надписью на неизвестном языке, относимую к веку императора Яо. Мын-дзы полагает, что нельзя прочесть ее иначе, как при помощи травы ши, растущей на могиле Конфуция»[74]. Плано Карпини, путешествовавший в Сибири в XIII столетии, также упоминает о любопытной пещере, лежащей у последних пределов севера, in ultimo septentrioni, в окрестностях которой живут, по его словам, люди, имеющие только по одной ноге и одной руке: они ходить не могут и, когда хотят прогуляться, вертятся колесом, упираясь в землю попеременно ногою и рукою. О самой пещере суевекий посол папы присовокупляет только, что в ней находятся надписи на языке, которым говорили в раю.[75]

Все эти сведения мне, как ученому путешественнику, кажется, давно были известны; но оно не мешало, чтобы доктор повторил их мне с надлежащею подробностью, для воспламенения моей ревности к подвигам на пользу науки. Я призадумался. В самом деле, стоило только отыскать эту прославленную пещеру, видеть ее, сделать список с надписи и привезти его в Европу, чтоб попасть в великие люди. Приятный трепет тщеславия пробежал по моему сердцу. Ехать ли мне или нет?.. Оно немножко в сторону от пути в Торопец!.. Но как оставить приятеля?.. Притом Шпурцманн не способен к подобным открытиям: он в состоянии не приметить надписи и скорее все испортит, чем сделает что-нибудь порядочное. Я — это другое дело!.. Я создан для снимания надписей; я видел их столько в разных странах света!

— Так и быть, любезный доктор! — вскричал я, обнимая предприимчивого натуралиста. — Еду провожать тебя в Костяной пролив.

На другой день поутру (15 июня) мы уже были на лодке и после обеда снялись с попутным ветром. Плавание наше по Лене продолжалось с лишком две недели, потому что Иван Антонович, который теперь совершенно располагал нами, принужден был часто останавливаться для осмотра гор, примыкающих во многих местах к самому руслу реки. Доктор прилежно сопровождал его во всех его официальных вылазках на берег; я оставался на лодке и курил сигарки. В продолжение этого путешествия имели мы случай узнать покороче нашего товарища и хозяина: он был не только человек добрый, честный,

услужливый, но и весьма ученый по своей части, чего прежде, сквозь казенную его оболочку, мы вовсе не заметили. Мы полюбили его от всего сердца. Жаль только, что он терпеть не мог теорий и хотел пробовать все на своем оселке[76].

Время было ясное и жаркое. Лена и ее берега долго еще не переставали восхищать нас своею красотою: это настоящая панорама, составленная со вкусом из отличнейших видов вселенной. По мере удаления от Якутска деревья становятся реже и мельче; но за этот недостаток глаза с избытком вознаграждаются постепенно возрастающим величием безжизненной природы. Под 68-м градусом широты река уже уподобляется бесконечно длинному озеру, и смежные горы принимают грозную альпийскую наружность.

Наконец вступили мы в пустынное царство Севера. Зелени почти не видно. Гранит, вода и небо занимают все пространство. Природа кажется разоренною, взрытою, разграбленною недавно удалившимся врагом ее. Это поле сражения между планетою и ее атмосферою, в вечной борьбе которых лето составляет только мгновенное перемирие. В непрозрачном тусклом воздухе над полюсом висят растворенные зима и бури, ожидая только удаления солнца, чтоб во мраке, с новым ожесточением, броситься на планету; и планета, скинув свое красивое растительное платье, нагою грудью собирается встретить неистовые стихии, свирепость которых как будто хочет она устрашить видом острых, черных, исполинских членов и железных ребр своих.

2 июля бросили мы якорь в небольшой бухте, у самого устья Лены, ширина которого простирается на несколько верст. Итак, мы находились в устье этой могущественной реки, под 70-м градусом широты; но ожидания наши были несколько обмануты: вместо пышного, необыкновенного вида мы здесь ничего не видали. Река и море, в своем соединении, представили нам одно плоское, синее, необозримое пространство вод, при котором великолепие берегов совершенно исчезло. Даже Ледовитый океан ничем не обрадовал нас после длинного и скучного путешествия: ни одной плавучей льдины, ни одного медведя!.. Я был очень недоволен устьем Лены и Ледовитым океаном.

Доктор остановил мое внимание на особенном устройстве этого устья, которое кажется будто усеченным. Берега здесь не ниже тех, какие видели мы за сто и за двести верст вверх по реке; из обоих же углов устья выходит длинная аллея утесистых островов, конец которой теряется из виду на отдаленных водах океана. Нельзя сомневаться, что это продолжение берегов Лены, которая в глубокую древность долженствовала тянуться несравненно далее на север; но один из тех великих переворотов в природе, о которых мы с доктором беспрестанно толковали, по-видимому, сократил ее течение, передав значительную часть русла ее во владение моря. Шпурцманн очень хорошо объяснял весь порядок этого происшествя, но его объяснения нисколько меня не утешали.

— Если б я управлял этим переворотом, я бы перенес устье Лены еще ближе к Якутску, — сказал я.

— И вы бы были таким вандалом, портить такую прекрасную реку! — сказал доктор.

Мы нашли здесь несколько юрт тунгусов, занимающихся рыбною ловлею: они составляли все народонаселение здешнего края. Два большие судна, отправленные одним купцом из Якутска для ловли тюленей, стояли у островка, закрывающего вход в нашу бухту. По разным показаниям мы уже знали с достоверностью, что Писанная Комната находится на так называемом Медвеьем Острове, лежащем между Фадеевским Островом, Новою Сибирью и Костяным проливом. Как Антон Иванович намеревался пробыть здесь около десяти дней, то мы с доктором вступили в переговоры с приказчиком одного судна о перевезении нас на Медвежий Остров. Смелые промышленники в полной мере подтвердили сведения, сообщенные нам в разных местах по Лене, о предмете нашего путешествия, уверяя, что сами не раз бывали на этом острове и в Писанной Комнате. Заключив с ними условие, 4 июля

простились мы с любезным нашим хозяином, который душевно сожалел, что должен был расстаться с нами, тогда как и сам он очень желал бы посетить столь любопытную пещеру. Он обещал дожидаться нашего возвращения в устье Лены и, когда мы поднимали паруса, прислал еще сказать нам, что, быть может, увидится он с нами на Медвеьем Острове, ежели мы долго пробудем в пещере и ему нечего здесь будет делать.

Миновав множество мелких островов, мы выплыли в открытое море. Безветрие удержало нас до вечера в виду берегов Сибири. Ночью поднялся довольно сильный северо-западный ветер, и на следующее утро мы уже неслись по Ледовитому океану. Несколько отдельно плавающих льдин служили единственною вывескою грозному его названию. После трехдневного плавания завидели мы вправо низкий остров, именуемый Малым; влево высокие утесы, образующие южный край Фадеевского Острова. Скоро проявились и нагруженные ледяными горами неприступные берега Новой Сибири, за юго-западным углом которой приказчик судна указал нам высокую пирамидальную массу камня со многими уступами. Это был Медвежий Остров.

Мы прибыли туда 8 июля, около полудня, и немедленно отправились на берег. Медвежий Остров состоит из одной, почти круглой, гранитной горы, окруженной водою, и от Новой Сибири отделяется только небольшим проливом. Вершина его господствует над всеми высотами близлежащих островов, возвышаясь над поверхностью моря на 2260 футов, по барометрическому измерению доктора Шпурцманна. Пещера, известная под именем Писанной Комнаты, лежит в верхней его части, почти под самою крышею горы. Один из промышленников проводил нас туда по весьма крутой тропинке, протоптанной, по его мнению, белыми медведями, которые осенью и зимою во множестве посещают этот остров, отчего произошло и его название. Мы не раз принуждены были карабкаться на четвереньках, пока достигли небольшой площадки, где находится вход в пещеру, заваленный до половины камнями и обломками гранита.

Преодолев с большим трудом все препятствия, очутились мы наконец в знаменитой пещере. Она действительно имеет вид огромной комнаты. Сначала недостаток света не позволил нам ничего видеть; но когда глаза наши привыкли к полумраку, какое было наше восхищение, какая для меня радость, какое счастье для доктора открыть вместе и черты письмен, и кучу окаменелых костей!.. Шпурцманн бросился на кости как голодная гиена; я засветил карманный фонарик и стал разглядывать стены. Но тут именно и ожидало меня изумление. Я не верил своим взорам и протер глаза платком; я думал, что свет фонаря меня обманывает и три раза снял со свечи.

— Доктор!

— Мм?

— Посмотри сюда, ради бога!

— Не могу, барон. Я занят здесь. Какие богатства!.. Какие сокровища!.. Вот хвост плезиосауров, которого недостает у Геттингенского университета...

— Оставь его и поди скорее ко мне. Я покажу тебе нечто, гораздо любопытнее всех твоих хвостов.

— Раз, два, три, четыре... Четыре ляжки разных предпотопных собак — *canis antediluvianus*... И все новых, неизвестных пород!.. Вот, барон, избирайте любую: которую породу хотите вы удостоить вашего имени?.. Эту, например, собаку наречем вашу фамилиею; эту мою; этой можно будет дать имя вашей почтеннейшей сестр...

Я не мог выдержать долее, побежал к Шпурцманну и, вытащив его насильно из груды костей, привел за руку к стене. Наведя свет фонаря на письмена, я спросил, узнает ли он их.

Шпурцманн посмотрел на стену и на меня в остолбенении.

— Барон!.. это, кажется?..

— Что такое?.. Говорите ваше мнение.

— Да это иероглифы[77]!..

Я бросился целовать доктора...

— Так точно! — вскричал я с сердцем, трепещущим от радости, — это они, это египетские иероглифы! Я не ошибаюсь!.. Я узнал их с первого взгляда; я могу узнать египетские иероглифы везде и во всякое время, как свой собственный почерк.

— Вы также можете и читать их, барон?.. ведь вы ученик Шампольона? — важно присовокупил доктор.

— Я уже разобрал несколько строк.

— Этой надписи?

— Да. Она сочинена на диалекте, немножко различном от настоящего египетского, но довольно понятна и четка. Впрочем, вы знаете, что иероглифы можно читать на всех языках. Угадайте, любезный доктор, о чем в ней говорится?

— Ну, о чем?

— О потопе.

— О потопе!.. — воскликнул доктор, прыгнув в ученом восторге вверх на пол-аршина. — О потопе!! — И, в свою очередь, он кинулся целовать меня, сильно прижимая к груди, как самый редкий хвост плезиосауров. — О потопе!!! Какое открытие!.. Видите, барон: а вы не соглашались ехать сюда со мною в устье Лены, хотели наплевать на Ледовитый океан?.. Видите, сколько еще остается людям сделать важных для науки приобретений. Что вы там смотрите?..

— Читаю надпись. Судя по содержанию некоторых мест, это описание великого переворота в природе.

— Возможно ли?..

— Кажется, будто кто-то, спасшийся от потопа в этой пещере, вздумал описать на стенах ее свои приключения.

— Да это клад!.. Надпись единственная, бесценная!.. Мы, вероятно, узнаем из нее много любопытных вещей о предпотопных нравах и обычаях, о живших в то время великих животных... Как я завидую, барон, вашим обширным познаниям по части египетских древностей!.. Знаете ли, что за одну эту надпись вы будете членом всех наших немецких университетов и корреспондентом всех ученых обществ, подобно египетскому паше?..

— Очень рад, что тогда буду иметь честь именоваться вашим товарищем, любезный доктор. Благодаря вашей предприимчивости, вашему ученому инстинкту, мы с вами сделали истинно великое открытие; но меня приводит в сомнение одно обстоятельство, в котором никак не могу отдать себе отчета.

— Какое именно?

— То, каким непостижимым случаем египетские иероглифы забрались на Медвежий Остров,

посреди Ледовитого океана. Не белые ли медведи сочинили эту надпись?.. – спросил я.

— Белые медведи?.. Нет, это невозможно! — отвечал пресерьезно немецкий Gelehrter[78]. — Я хорошо знаю зоологию и могу вас уверить, что белые медведи не в состоянии этого сделать. Но что же тут удивительного?.. Это только новое доказательство, что так называемые египетские иероглифы не суть египетские, а были переданы жрецам того края гораздо древнейшим народом, без сомнения, людьми, уцелевшими от последнего потопа. Итак, иероглифы суть, очевидно, письмена предпотопные, *literae antediluvianae*, первобытная грамота рода человеческого, и были в общем употреблении у народов, обитавших в теплой и прекрасной стране, теперь частью превращенной в Северную Сибирь, частью поглощенной Ледовитым морем, как это достаточно доказывается и самым устройством устья Лены. Вот почему мы находим египетскую надпись на Медвежьем Острове.

— Ваше замечание, любезный доктор, кажется мне весьма основательным.

— Оно по крайней мере естественно и само собою истекает из прекрасной, бесподобной теории о четырех потопах, четырех почвах и четырех истребленных органических природах.

— Я совершенно согласен с вами. И мой покойный наставник и друг, Шампольон, потирая руки перед пирамидами, на которых тоже найдены иероглифические надписи, сказал однажды своим спутникам: «Эти здания не принадлежат египтянам: им с лишком 20 000 лет!»

— Видите, видите, барон! — воскликнул обрадованный Шпурцманн. — Я не египтолог, а сказал вам тотчас, что египетские иероглифы существовали еще до последнего потопа. Двадцать тысяч лет?.. Ну а потоп случился недавно!.. Итак, это доказано. Правда, я иногда шутил над иероглифами; но мы в Германии, в наших университетах, очень любим остроумие. В сердце я всегда питал особенное к ним почтение и могу вас уверить, что египетские иероглифы я уважаю наравне с мамонтовыми клыками. Как я сожалею, что, будучи в Париже, не учился иероглифам!..

Объяснив таким образом происхождение надписи и осмотрев с фонарем стены, плотно покрытые сверху донизу иероглифами, нам оставалось только решить, что с нею делать. Срисовать ее всю было невозможно: на это потребовалось бы с лишком двух месяцев, с другой стороны, у нас не было столько бумаги. Как тут быть?.. По зрелом соображении мы положили, возвратясь в Петербург, убедить Академию Наук к приведению в действие Гмелинова проекта, отправлением нарочной ученой экспедиции для снятия надписи в подлиннике сквозь вощеную бумагу, а между тем самим перевести ее на месте и представить ученому совету в буквальном переводе. Но и это не так-то легко было бы исполнить. Стены имеют восемь аршин высоты, и вверху сходятся неправильным сводом. Надпись, хотя и крупными иероглифами, начинается так высоко, что, стоя на полу, никак нельзя разглядеть верхних строк. Притом строки очень не прямы, сбивчивы, даже перепутаны одни с другими и должны быть разбираемы с большим вниманием, чтоб при чтении и в переводе не перемешать порядка иероглифов и сопряженных с ними понятий. Надобно было непременно наперед построить леса кругом всей пещеры и потом, при свете фонарей или факелов, одному читать и переводить, а другому писать по диктовке.

Рассудив это и измерив пещеру, мы возвратились на судно, где собрали все ненужные доски, бревна, багры и лестницы и приказали перенести в Писанную Комнату. Трудолюбивые русские мужички за небольшую плату охотно и весело исполнили наши наставления. К вечеру материал уже был на горе; но постройка лесов заняла весь следующий день, в течение которого Шпурцманн копался в костях, а я отыскивал начало надписи и порядок, по которому стены следуют одни за другими. На третий день поутру (10-го июля) мы взяли с собою столик, скамейку, чернила и бумагу и, прибыв в пещеру, немедленно приступили к делу.

Я взлез на леса с двумя промышленниками, долженствовавшими держать предо мною фонари; доктор уселся на скамейке за столиком; я закурил сигарку, он понюхал табаку, и мы начали работать. Зная, какой чрезмерной точности требует ученый народ от списывающих древние исторические памятники, мы условились переводить иероглифический текст по точным правилам Шампольоновой методы, от слова до слова, как он есть, без всяких украшений слога, и писать перевод каждой стены особо, не изобретая никакого нового разделения. В этом именно виде ученые мои читатели найдут его и здесь.

Но при первом слове вышел у нас с доктором жаркий спор о заглавии. Питомец запачканной чернилами Германии не хотел и писать без какого-нибудь загадочного или рогатого заглавия. Он предлагал назвать наш труд «Homo diluvii testis», «Человек был свидетелем потопа», потому что это неприметным образом состояло бы в косвенной, тонкой, весьма далекой и весьма остроумной связи с системою Шейхцера[79], который, нашед в своем погребу кусок окаменелого человека, под этим заглавием написал книгу, доказывая, что этот человек видел из погреба потоп собственными глазами, в опровержение последователей учению Кювье, утверждающих, что до потопа не было на земле ни людей, ни даже погребов. Я предпочитал этому педантству ясное и простое заглавие:

«Записки последнего предпотопного человека» . Мы потеряли полчаса дорогого времени и ни на что не согласились. Я вышел из терпения и объявил доктору, что оставлю его одного в пещере, если он будет долее спорить со мною о таких пустяках. Шпурцманн образумился.

— Хорошо! — сказал он. — Мы решим заглавие в Европе.

— Хорошо! — сказал я. — Теперь извольте писать. _____

Стена I

«Подлейший раб солнца, луны и двенадцати звезд, управляющих судьбами, Шабахубосаар сын Бакубарооса, сына Махубелехова, всем читающим это желаем здравия и благополучия.

Цель этого писания есть следующая:

Мучимый голодом, страхом, отчаянием, лишенный всякой надежды на спасение, среди ужасов всеобщей смерти, на этом лоскутке земли, случайно уцелевшем от разрушения, решил я начертать картину страшного происшествия, которого был свидетелем.

Если еще кто-либо, кроме меня, остался в живых на земле; если случай, любопытство или гибель привлечет его или сынов его в эту пещеру; если когда-нибудь сделается она доступною потомкам человека, исторгнутого рукою судьбы из последнего истребления его рода, пусть прочитают они мою историю, пусть постигнут ее содержание и затрепещут.

Никто уже из них не увидит ни отечеств, ни величия, ни пышности их злосчастных предков. Наши прекрасные родины, наши чертоги, памятники и сказания покоятся на дне морском, или под спудом новых огромных гор. Здесь, где теперь простирается это бурное море, покрытое льдинами, еще недавно процветало сильное и богатое государство, блистали яркие крыши бесчисленных городов, среди зелени пальмовых рощ и бамбуковых плантаций...»

— Видите, барон, как подтверждается все, что я вам доказывал об удивительных исследованиях Кювье?. — воскликнул в этом месте Шпурцманн.

— Вижу, — отвечал я и продолжал диктовать начатое. _____

«...двигались шумные толпы народа и паслись стада под светлым и благотворным небом. Этот воздух, испещренный гадкими хлопьями снега, замешанный мрачным и тяжелым туманом, еще недавно был напитан благоуханием цветов и звучал пением прелестных птичек, вместо которого слышны только унылое карканье ворон и пронзительный крик бакланов. В том месте, где сегодня, на бушующих волнах, носится эта отдаленная, высокая ледяная гора, беспрестанно увеличиваясь новыми глыбами снега и окаменелой воды, — в том самом месте, в нескольких переездах отсюда, пять недель тому назад возвышался наш великолепный Хухурун, столица могущественной Барабии[80] и краса вселенной, огромностью, роскошью и блеском превосходивший все города, как мамонт превосходит всех животных. И все это исчезло, как сон, как привидение!..

О Барабия! о мое отечество! где ты теперь?.. где мой прекрасный дом?.. моя семья?.. любезная мать, братья, сестры, товарищи и все дорогие сердцу?.. Вы погибли в общем разрушении природы, погребены в пучинах нового океана или плаваете по его поверхности вместе со льдинами, которые трут ваши тела и разламывают ваши кости. Я один остался на свете, но и я скоро последую за вами!..

В горестном отчуждении от всего, что прежде существовало, одни лишь воспоминания еще составляют связь между мною и поглощенным светом. Но достанет ли у меня силы, чтоб возобновить память всего ужасного и смешного, сопровождавшего мучительную его кончину?.. Вода смыла с лица земли последний след глупостей и страданий нашего рода, и я не имею права нарушать тайны, которою сама природа, быть может, для нашей чести, покрыла его существование. Итак, я ограничусь здесь личными моими чувствованиями и приключениями: они принадлежат мне одному, и я, для собственного моего развлечения, опишу их подробно с самого начала постигшего нас бедствия.

В 10-й день второй луны сего, 11 789 года в северо-восточной стороне неба появилась небольшая комета. Я тогда находился в Хухуруне. Вечер был бесподобный; несметное множество народа весело и беззаботно гуляло по мраморной набережной Лены, и лучшее общество столицы оживляло ее своим присутствием. Прекрасный пол... прекрасный пол..?»

— Чем вы затрудняетесь, барон? — прервал Шпурцманн, приподнимая голову. — Переводите, ради бога: это очень любопытно.

— Затрудняюсь тем, — отвечал я, — что не знаю, как назвать разные роды древних женских нарядов, о которых здесь упоминается.

— Нужды нет; называйте их нынешними именами, с присовокуплением общего прилагательного *antediluvianus*, «предпотопный». Мы в сравнительной анатомии так называем все то, что неизвестно, когда оно существовало. Это очень удобно.

— Хорошо. Итак, пишите.

«Предпотопный прекрасный пол, в богатых предпотопных клоках[81], с щегольскими предпотопными шляпками на голове и предпотопными турецкими шалями, искусно

накинутыми на плечи, сообщал этому стечению вид столь же пестрый, как и заманчивой».

— Прекрасно! — воскликнул мой доктор, нюхая табак. — И коротко и ясно.

— Но мне кажется, — примолвил я, — что было бы еще короче не прибавлять слова «предпотопный».

— Конечно! — отвечал он. — Это будет еще короче.

— Не прерывайте же меня теперь, — сказал я, — а то мы никогда не кончим.

«Лучи заходящего солнца, изливаясь розовыми струями сквозь длинные и высокие колоннады дворцов, украшавших противоположный берег реки, и озаряя волшебным светом желтые и голубые крыши храмов, восхищали праздных зрителей, более занятых своими удовольствиями, чем кометою и даже новостями из армии. Барабия была тогда в войне с двумя сильными державами: к юго-западу (около Шпицбергена и Новой Земли[82]) мы вели кровопролитную войну с Мурзуджаном, повелителем обширного государства, населенного неграми, а на внутреннем море (что ныне Киргизская Степь) наш флот сражался со славою против соединенных сил Пшармахии и Гарры. Наш царь, Мархусахааб, лично предводительствовал войсками против черного властелина, и прибывший накануне гонец привез радостное известие об одержанной нами незабвенной победе.

Я тоже гулял по набережной, но на меня не только комета и победа, но даже и величественная игра лучей солнца не производили впечатления. Я был рассеян и грустен. За час перед тем я был у моей Саяны, прелестнейшей из женщин, живших когда-либо на земном шаре, — у Саяны, с которою долженствовал я скоро соединиться неразрывными узами брака и семейного счастья, — и расстался с нею с сердцем, отравленным подозрениями и ревностью. Я был ревнив до крайности; она была до крайности ветрена. Несколько уже раз случалось мне быть в размолвке с нею и всегда оставаться виноватым; но теперь я имел ясное доказательство ее измены. Теперь я сам видел, как она пожала руку молодому (предпотопному) франту, Саабарабу. „Возможно ли, — думал я, — чтоб столько коварства, вероломства таилось в юной и неопытной девушке, и еще под такую обворожительную оболочку красоты, невинности, нежности?.. Она так недавно клялась мне, что, кроме меня, никого в свете любить не может; что без меня скучает, чувствует себя несчастною; что мое присутствие для нее благополучие, мое прикосновение — жизнь!..“ Но, может статься, я ошибаюсь: может быть, я не то видел, и она верна мне по-прежнему?.. В самом деле, я не думаю, чтобы она могла любить кого-нибудь другого, особенно такого вертопраха, каков Саабараб... Впрочем, он красавец, знатен и нагл: многие женщины от него без памяти... Да и что значила эта рука в его руке?.. Откуда такая холодность в обращении со мною?.. Она даже не спросила меня, когда мы опять увидимся!.. Я приведу все это в ясность. И если удостоверюсь, что она действительно презирает мою любовь, то клянусь солнцем и луною!..» — Тут мои рассуждения были вдруг остановлены: я упал на мостовую, разбил себе лоб и был оглушен пронзительным визгом придавленного мною человека, который кричал мне в самое ухо: «Ай!.. ай!.. Шабахубосаар!.. сумасшедший!.. что ты делаешь?.. ты меня убил!.. ты меня душишь!.. Господа!.. пособи!»

Я вскочил на ноги, весь в пыли и изумлении среди громкого смеха прохожих и плоских замечаний моих приятелей, и тогда только заметил, что, обуреваемый страстью, я так быстро мчался по набережной, что затоптал главного хухурунского астронома, горбатого

Шимшика, бывшего некогда моим учителем. Шимшик хотел воспользоваться появлением кометы на небе, чтоб на земле обратить общее внимание на себя. Став важно посреди гульбища, он вытянул шею и не сводил тусклых глаз своих с кометы, в том уповании, что гуляющие узнают по его лицу отношения его по должности к этому светилу; но в это время неосторожно был опрокинут мною на мостовую.

Прежде всего я пособил почтенному астроному привстать с земли. Мы уже были окружены толпою ротозеев. Тогда как он чистил и приводил в порядок свою бороду, я поправил на нем платье и подал ему свалившийся с головы его остроконечный колпак, извиняясь перед ним в моей опрометчивости. Но старик был чрезвычайно раздражен моим поступком и обременял меня упреками, что я не умею уважать его седин и глубоких познаний; что он давно предсказал появление этой кометы и что я, опрокинув его во время астрономических его наблюдений, разбил вдребезги прекрасную систему, которую создавал он о течении, свойстве и пользе комет. Я безмолвно выслушал его выговоры, ибо знал, что это громкое негодование имело более предметом дать знать народу, что он астроном и важное лицо в этом случае, чем огорчить и унижить меня перед посторонними. Веселость зрителей, возбужденная его приключением, вдруг превратилась в любопытство, как скоро узнали они, что этот горбатый человек может растолковать им значение появившейся на небе метлы. Они осыпали его вопросами, и он в своих ответах умел сообщить себе столько важности, что многие подумали, будто он в самом деле управляет кометами и может разразить любое светило над головою всякого, кто не станет оказывать должного почтения ему и его науке.

Я знал наклонность нашего мудреца к шарлатанству и при первой возможности утащил его оттуда, хотя он неохотно оставлял поприще своего торжества. Когда мы очутились с глазу на глаз, я сказал ему:

— Любезный Шимшик, вы крепко настращали народ этою кометою.

— Нужды нет! — отвечал он равнодушно. — Это возбуждает в невеждах уважение к наукам и ученым.

— Но вы сами мне говорили...

— Я всегда говорил вам, что придет комета. Я предсказывал это лет двадцать тому назад.

— Но вы говорили также, что комет нечего бояться; что эти светила не имеют никакой связи ни с Землею, ни с судьбами ее жителей.

— Да, я говорил это; но теперь я сочиняю другую, совсем новую систему мира, в которой хочу дать кометам занятие несколько важнее прежнего. Я имею убедительные к тому причины, которые объясню тебе после. Но ты, любезный Шабахубосаар! ты рыскаешь по гульбищам, как шальной палеотерион[83]. Ты чуть не задавил твоего старого учителя, внезапно обрушившись на него всем телом. Я уже думал, что комета упала с неба прямо на меня.

— Простите, почтенный Шимшик, я был рассеян, почти не свой...

— Я знаю причину твоей рассеянности. Ты все еще возишься с своею Саяною. Верно, она тебе изменила?

— Отнюдь не то. Я люблю ее, обожаю; она достойна моей любви, хотя, кажется, немножко... ветрена.

— Ведь я тебе предсказывал это восемь месяцев тому назад? Ты не хотел верить!

— Она... она кокетка.

— Я предсказал это, когда она еще была малюткою. Мои предсказания всегда сбываются. И

эта комета...

— Я признаюсь вам, что я в отчаянии...

— Понапрасну, друг мой Шабахубосаар! Что же тут необыкновенного?.. Все наши женщины ужасные кокетки. _____

— Пойдите, барон, одно слово! — вскричал опять мой приятель Шпурцманн. — Я думаю, вы не так переводите.

— С чего же вы это взяли? — возразил я.

— Вы уже во второй раз упоминаете о кокетках, — сказал он. — Я не думаю, чтоб кокетки были известны еще до потопа... Тогда водились мамонты, мегалосауры, плезиосауры, палеотерионы и разные драконы и гидры; но кокетки — это произведения новейших времен.

— Извините, любезный доктор, — отвечал я Шпурцманну. — Вот иероглиф, лисица без сердца: это, по грамматике Шампольона Младшего, должно означать кокетку. Я, кажется, знаю язык иероглифический и перевожу грамматически.

— Может статься! — примолвил он. — Однако ж ни Кювье, ни Шейхцер, ни Гом, ни Букланд, ни Броньяр, ни Гумбольдт[84] не говорят ни слова об окаменелых кокетках, и остова древней кокетки нет ни в парижском Музеуме, ни в петербургской Кунсткамере.

— Это уж не мое дело! — сказал я. — Я перевожу так, как здесь написано. Извольте писать.

«Все наши женщины ужасные кокетки...» _____

— Пойдите, барон! — прервал еще раз доктор. — Воля ваша, а здесь необходимо к слову «женщины» прибавить предпотопные или ископаемые. Боюсь, что нынешние дамы станут обижаться нашим переводом, и сама цензура не пропустит этого места, когда мы захотим его напечатать. Позвольте поставить это пояснение в скобках.

— Хорошо, хорошо! — отвечал я. — Пишите как вам угодно, только мне не мешайте.

— Уж более не скажу ни слова.

— Помните же, что это говорит астроном своему воспитаннику, Шабахубосаару.

«Все наши (предпотопные или ископаемые) женщины ужасные кокетки. Это естественное следствие той неограниченной свободы, которою они у нас пользуются. Многие наши мудрецы утверждают, что без этого наши общества никогда не достигли бы той степени образованности и просвещения, на которой они теперь находятся; но я никак не согласен с их мнением. Просвещенным можно сделаться и заперши свою жену замком в спальне — даже еще скорее; а что касается до высокой образованности, то спрашиваю: что такое называем мы этим именем? — утонченный разврат, и только! — разврат, приведенный в систему, подчиненный известным правилам, председательские кресла которого уступили мы

женщинам. Зато они уж управляют им совершенно в свою пользу, распространяя свою власть и стесняя наши права всякий день более и более. Могущество их над обществом дошло в наше время до своей высочайшей точки: они завладели всем, нравами, разговорами, делами, и нас не хотят более иметь своими мужьями, а только любовниками и невольниками. При таком порядке вещей общества неминуемо должны погибнуть».

— Вы, почтенный астроном, принадлежите, как вижу, к партии супружеского абсолютизма.

— Я принадлежу к партии людей благонамеренных и не люблю революций в спальнях, какие теперь происходят во многих государствах. Прежде этого не было. Пагубное учение о допущении женщин к участию в делах, о верховной их власти над обществом появилось только в наше время, и они, при помощи молодых повес, совершенно нас поработили. У нас, в Барабии, это еще хуже, чем в других местах. Наконец и правительства убедились, что с подобными началами общества существовать не могут, и повсюду принимаются меры к прекращению этих нравственных бунтов. Посмотрите, какие благоразумные меры приняты в Гарре, Шандарухии и Хаахабуре для обуздания гидры женского своенравия! Говорят, что в Бамбурии власть мужа уже совершенно восстановлена, хотя в наших гостиных утверждают, что в тамошних супружествах еще происходят смятения и драки. Но и мы приближаемся к важному общественному перелому: надеюсь, что владычество юбок скоро кончится в нашей святой Барабии. Знаешь ли, Шабахубосаар, настоящую цель нашего похода против негров Шах-шух (Новой Земли)?

— Нет, не знаю.

— Так я тебе скажу. Это большая тайна; но я узнал ее через моего приятеля, великого жреца Солнца, который давно уговаривает царя принять действительные меры к ограничению чрезмерной свободы женского пола. Мы предприняли эту войну единственно для этой цели. Все обдуманно, предусмотрено как нельзя лучше. Мы надеемся поработить полмиллиона арапов и составить из них грозную армию евнухов. Они будут приведены сюда в виде военнопленных и распределены по домам, под предлогом квартиры, по одному человеку на всякое супружество. При помощи их, в назначенный день, мы схватим наших жен, запрем их в спальнях и приставим к дверям надежных стражей. Тогда и я с великим жрецом, хоть старики, имеем в виду жениться на молодых девушках и будем вкушать настоящее супружеское счастье. Но заклинаю тебя, не говори о том никому в свете, ибо испортишь все дело. Ежели мы этого не сделаем, то — увидишь! — не только с нами, но и со всем родом человеческим, и с целою нашею планетою может случиться из-за женщин величайшее бедствие!..

— Вы шутите, любезный Шимшик?

— Не шучу, братец. Я убежден в этом: женщины нас погубят. Но мы предупредим несчастье: скоро будет конец их самовластию над нравами. Советую и тебе, Шабахубосаар, отложить свою женитьбу до благополучного окончания войны с неграми.

Я смеялся до слез, слушая рассуждения главного астронома, и для большей потехи нарочно подстрекал его возражениями. Как ни странны были его мнения, как ни забавны сведения, сообщенные ему по секрету, но они, по несчастию, были не без основания. С некоторого времени все почти народы были поражены предчувствием какого-то ужасного бедствия; на земле провозглашались самые мрачные пророчества. Род человеческий, казалось, предвидел ожидающее его наказание за повсеместный разврат нравов; и как сильнейшие всегда сваливают вину на слабых, то все зло было, естественно, приписано людьми женскому их полу. Повсюду принимались меры против неограниченной свободы женщин, хотя мужчины не везде оставались победителями. Это было время гонения на юбки: все супружества в разбранке; в обществах господствовал хаос.

Шимшик расстался со мною очень поздно. Его причуды несколько рассеяли мою грусть. Как я был сердит на Саяну, то озлобление старого астронома против прекрасного пола отчасти заразило и мое сердце, и, ложась спать, я даже сотворил молитву к Луне об успехе нашего оружия против негров.

На другой день я застал город в тревоге. Все толковали о комете, Шимшике, его колпаке и его предсказаниях. Итак, маленькое небесное тело и маленький неуклюжий педант, о которых прежде никто и не думал, теперь сделались предметом общего внимания! И все это потому, что я этого педанта сшиб с ног на мостовой!! О, люди! О умы!..

Я побежал к своей любезной с твердым намерением в душе наказать ее за вчерашнюю ветреность самым холодным с нею обращением. Сначала мы даже не смотрели друг на друга. Я завел разговор о комете. Она обнаружила нетерпение. Я стал рассказывать о моем приключении с Шимшиком и продолжал казаться равнодушным. Она начала сердиться. Я показал вид, будто этого не примечаю. Она бросилась мне на шею и сказала, что меня обожает. Ах, коварная!.. Но таковы были все наши (ископаемые[85]) женщины: слава Солнцу и Луне, что они потонули!..

Я был обезоружен и даже сам просил прощения. Наступили объяснения, слезы, клятвы; оказалось, что вчера я не то видел; что у меня должен быть странный порок в глазах; и полная амнистия за прошедшее была объявлена с обеих сторон. Я был в восторге и решился принудить ее родителей и мою мать к скорейшему окончанию дела, тем более что женитьба, во всяком случае, почиталась у нас (т.е. до потопа[86]) вернейшим средством к прекращению любовных терзаний.

Хотя брак мой с прекрасною Саяной давно уже был условлен нашими родителями, но приведение его в действие с некоторого времени встречало разные препятствия. Отец моей любезной занимал при дворе значительное место: он был отчаянный церемониймейстер и гордился тем, что ни один из царедворцев не умел поклониться ниже его. Он непременно требовал, чтоб я наперед как-нибудь втерся в дворцовую переднюю и подвергнул себя испытанию, отвесив в его присутствии поклон хоть наместнику государства, когда тот будет проходить с бумагами: опытный церемониймейстер хотел заключить, по углу наклона моей спины к полу передней при первом моем поклоне, далеко ли пойдет зять его на поприще почестей. С другой стороны, моя мать была весьма недовольна будущею моею тещею: последняя считала себя не только знаменитее родом, но и моложе ее, тогда как матушка знала с достоверностью, что моя теща была старше ее шестьюдесятью годами: ей тогда было только двести пятьдесят пять лет, а той уже за триста!.. Они часто отпускали друг на друга презлые остроты, хотя в обществах казались душевными приятельницами. Матушка не советовала мне спешить с свадьбою под предлогом, что, по дошедшим до нее сведениям, дела родителей Саяны находились в большом расстройстве. Мать моей невесты желала выдать ее за меня замуж, но более была занята собственными своими удовольствиями, чем судьбою дочери. Но главною преградою к скорому совершению брака был мой дядя, Шашабаах. Он строил себе великолепный дом, с несколькими сотнями огромных колонн, и, по своему богатству, был чрезвычайно уважаем как отцом, так и матерью Саяны. Любя меня как родного сына, он объявил, что никто, кроме его, не имеет права пекшись о моем домашнем счастье, и решил своею властью, что нельзя и думать о моей свадьбе, пока не отделает он своей большой залы и не развесит своих картин, ибо теперь у него негде дать бал на такой торжественный случай. Судя по упрямству дяди Шашабааха и по раболепному благоговению наших родных перед его причудами, это препятствие более всех прочих казалось непреодолимым. Я не знал, что делать. Я был влюблен и ревнив. Саяна меня обожала; но, пока дядя развесит бы свои картины, самая добродетельная любовница успела бы раз десять изменить своему другу. Положение мое было самое затруднительное: я признал необходимым выйти из него во что бы то ни стало.

Я побежал к матушке, чтоб понудить ее к решению моей судьбы, и поссорился с нею ужасно.

Потом пошел к отцу Саяны: тот вместо ответа прочитал мне сочиненную им программу церемониала для приближающегося при дворе праздника и отослал меня к своей жене. Будущая моя теща, быв накануне оставлена своим любовником, встретила меня грозною выходкою против нашего пола, доказывая, что все мужчины негодяи и не стоят того, чтобы женщины их любили. Я обратился к дяде Шашабааху, но и тут не мог добиться толку: он заставил меня целый день укладывать с ним антики в новой великолепной его библиотеке; на все мои отзывы о Саяне, о любви, о необходимости положить конец моим мучениям отвечал длинными рассуждениями об искусстве обжигать горшки у древних и прогнал меня от себя палкою, когда я, потеряв терпение и присутствие духа, уронил из рук на землю и разбил в куски большой фаянсовый горшок особенного вида, древность которого, по его догадкам, восходила до двести пятнадцатого года от сотворения света. Я плакал, проклинал холодный эгоизм стариков, не постигающих пылкости юного сердца, но не унывал. После многократных просьб, отсрочек, споров и огорчений наконец успел я довести родных до согласия; но когда они собирались объявить нам его в торжественном заседании за званым обедом, я вдруг рассорился с Саяною за то, что она слишком сладко улыбалась одному молодому человеку. Все рушилось; я опять был повергнут в отчаяние.

Я поклялся никогда не возвращаться к коварной и целых трое суток свято сдержал свой обет. Чтоб никто не мешал мне сердиться, я ходил гулять в местах уединенных, где не было ни живой души, где даже не было изменниц. Однажды ночь застигла меня в такой прогулке. Нет сомнения, что размолвка с любезною есть удобнеее время для астрономических наблюдений, и самая астрономия была, как известно, изобретена в IV веке от сотворения света одним великим мудрецом, подравшимся ввечеру с женою и прогнанным ею из спальни. С досады я стал считать звезды на небе и увидел, что комета, которую, хлопоча о своей женитьбе, совсем выпустил из виду, с тех пор необыкновенно увеличилась в своем объеме. Голова ее уже не уступала величиною луне, а хвост бледно-желтого цвета, разбитый на две полосы, закрывал собою огромную часть небесного свода. Я удивился, каким образом такая перемена в наружном ее виде ускользнула от моего ведома и внимания. Пораженный странностью зрелища и наскучив одиночеством, я пошел к приятелю Шимшику потолковать об этом. Его не было дома; но мне сказали, что он на обсерватории, и я побежал туда. Астроном был в одной рубахе, без колпака и без чулок, и стоял, прикованный правым глазом к астролябии[87], завязав левый свой глаз скинутым с себя от жары исподним платьем. Он подал мне знак рукою, чтоб я не прерывал его занятия. Я простоял подле него несколько минут в безмолвии.

— Чем вы так заняты? — спросил я, когда он кончил свое дело и выпрямился передо мною, держась руками за спину.

— Я сделал наблюдения над хвостом кометы, — отвечал он с важностью. — Знаете ли вы его величину?

— Буду знать, когда вы мне скажете.

— Она простирается на 45 миллионов миль: это более чем дважды расстояние Земли от Солнца.

— Но объясните мне, почтеннейший Шимшик, как это сделалось, что он так скоро увеличился. Помните ли, как он казался малым в тот вечер, когда я опрокинул вас на набережной?

— Где же вы бывали, что не знаете, как и когда он увеличился? Вы все заняты своею вздорною любовью и не видите, не слышите того, что происходит вокруг вас. Полно, любезнейший!.. при таком ослеплении вы и того не примечаете, как ваша любезная поставит вам на лбу комету с двумя хвостами длиннее этих.

— Оставьте ее в покое, г. астроном. Лучше будем говорить о том, что у нас перед глазами.

— С удовольствием. Вот, извольте видеть: тогда как вы не сводили глаз с розового личика Саяны, эта комета совсем переменяла свой вид. Прежде она казалась маленькою, бледно-голубого цвета; теперь, по мере приближения к Солнцу, со дня на день представляется значительнее и сделалась желтою с темными пятнами. Я измерил ее ядро и атмосферу: первое, по-видимому, довольно плотное, имеет в поперечнике только 189 миль; но ее атмосфера простирается на 7000 миль и образует из нее тело втрое больше Земли. Она движется очень быстро, пролетая в час с лишком 50 000 миль. Судя по этому и по ее направлению, недели через три она будет находиться только в 200 000 милях от Земли. Но все эти подробности давно известны из моего последнего сочинения.

— Я в первый раз об них слышу, — сказал я.

— И не удивительно! — воскликнул мудрец. — Куда вам и думать о телах небесных, завязши по шею в таком белом земном тельце! Когда я был молод, я тоже охотнее волочился за красотками, чем за хвостом кометы. Но вы, верно, и того не знаете, что постепенное увеличение этой кометы поразило здешних жителей ужасным страхом?..

— Я не боюсь комет и на чужой страх не обращаю внимания.

— Что царский астроном, Бурубух, мой соперник и враг, для успокоения встревоженных умов издал преглупое сочинение, на которое я буду отвечать?..

— Все это для меня новость.

— Да!.. он издал сочинение, которое удовлетворило многих, особенно таких дураков и трусов, как он сам. Но я обнаружу его невежество; я докажу ему, что он, просиживая по целым утрам в царской кухне, в состоянии понимать только теорию обращения жаркого на своей оси, а не обращение небесных светил. Он утверждает, что эта комета, хотя и подойдет довольно близко к Земле, но не причинит ей никакого вреда; что, вступив в круг действия притягательной ее силы, если ее хорошенько попросят, она может сделаться ее спутником, и мы будем иметь две луны вместо одной: не то она пролетит мимо и опять исчезнет; что, наконец, нет причины опасаться столкновения ее с земным шаром, ни того, чтоб она разбила его вдребезги, как старый горшок, потому что она жидка, как кисель, состоит из грязи и паров, и прочая, и прочая. Можете ли вы представить себе подобные глупости?..

— Но вы сами прежде были того мнения, и, когда я учился у вас астрономии...

— Конечно!.. Прежде оно в самом деле так было, и мой соперник так думает об этом по сю пору; но теперь я переменяю свой образ мыслей. Я же не могу быть согласным в мнениях с таким невеждою, как Бурубух? Вы сами понимаете, что это было бы слишком для меня унижительно. Поэтому я сочиняю новую теорию мироздания и при помощи Солнца и Луны употребляю ее для уничтожения его. По моей теории, кометы играли важную роль в образовании солнц и планет. Знаете ли, любезный Шабахубосаар, что было время, когда кометы валились на землю, как гнилые яблоки с яблони?

— В то время, я думаю, опасно было даже ходить по улицам, — сказал я с улыбкою. — Я ни за что не согласился бы жить в таком веке, когда, вынимая носовой платок из кармана, вдруг можно было выронить из него на мостовую комету, упавшую туда с неба.

— Вы шутите! — возразил астроном. — Однако ж это правда. И доказательство тому, что кометы не раз падали на землю, имеете вы в этих высоких хребтах гор, грозно торчащих на шару нашей планеты и загромождающих ее поверхность. Все это обрушившиеся кометы, тела, прилипшие к Земле, помятые и переломленные в своем падении. Довольно взглянуть на устройство каменных гор, на беспорядок их слоев, чтоб убедиться в этой истине. Иначе

поверхность нашей планеты была бы совершенно гладка: нельзя даже предположить, чтоб природа, образуя какой-нибудь шар, первоначально не произвела его совсем круглым и ровным и нарочно портила свое дело выпуклостями, шероховатостями...

— Поэтому, любезный мой Шимшик, — воскликнул я, смеясь громко, — и ваша голова первоначально, в детских летах, была совершенно круглым и гладким шаром, нос же, торчащий на ней, есть, вероятно, постороннее тело, род кометы, случайно на нее упавшей...

— Милостивый государь! — вскричал разгневанный астроном. — Разве вы пришли сюда издеваться надо мною? Подите, шутите с кем вам угодно. Я не люблю шуток над тем, что относится к кругу наук точных.

Я извинялся в моей непочтительной веселости, однако ж не переставал смеяться. Его учение казалось мне столь забавным, что, даже расставшись с ним, я думал более об его носе, чем о вероломной Саяне. Проснувшись на следующее утро, прежде всего вспомнил я об его теории: я опять стал смеяться, смеялся от чистого сердца и кончил мыслию, что она в состоянии даже излечить меня от моей несчастной любви. Но в ту минуту отдали мне записку от... Кровь во мне закипела: я увидел почерк моей мучительницы. Она упрекала меня в непостоянстве, в жестокости!.. уверяла, что она меня любит, что она умрет, ежели я не отдам справедливости чистой, пламенной любви ее!.. Все мои обеты и теории Шимшика были в одно мгновение ока, подобно опрокинутой, по его учению, комете, смяты, переломаны, перепутаны в своих слоях и свалены в безобразную грудку. Она права!.. я виноват, я непостоянен!.. Она так великодушна, что прощает меня за мою ветреность, мое жестокосердие!.. Через полчаса я уже был у ног добродетельной Саяны и, спустя еще минуту, в ее объятиях.

Я опять был счастлив и с новым усердием начал хлопотать о своем деле. Надобно было снова сблизить и согласить родных, разгневанных на меня и, при сей верной оказии, перессорившихся между собою; вынести их упреки и выговоры, склонить матушку, выслушать все рассуждения дяди Шашабааха и польстить теще, которая столь же пламенно желала освободиться от присутствия дочери в доме, сколько и надоесть ее свекрови и помучить меня своими капризами. Прибавьте к тому приготовления к свадьбе, советы старушек, опасения ревливой любви, мою нетерпеливость, легкомысленность Саяны и тучи сплетней, разразившихся над моею головою, как скоро моя женитьба сделалась известною в городе — и вы будете иметь понятие об ужасах пути, по которому должен я был пробираться к домашнему счастью.

Этот ад продолжался две недели. К довершению моих страданий, события сердца беспрестанно сплетались у меня с хвостом кометы. Я должен был в одно и то же время отвечать на скучные комплименты знакомцев, ссориться с невестою за всякий пущенный мимо меня взгляд, за всякую зароненную в чужое сердце улыбку, и рассуждать со всеми о небесной метле, которая беспрестанными своими изменениями ежедневно подавала повод к новым толкам. И когда уже гости созваны были на свадьбу, тот же хвост еще преградил мне путь в капище[88] Духа Супружеской Верности, с нетерпением ожидавшего нашей присяги. Мой Шимшик, не довольствуясь изданием в свет сочинения, предсказывающего падение кометы на землю, еще уговорил своего приятеля, великого жреца Солнца, воспользоваться, с ним пополам, произведенною в народе тревогою; и в самый день моей свадьбы глашатаи известили жителей столицы, что для отвращения угрожающего бедствия колоссальный истукан небесного Рака будет вынесен из храма на площадь и что по совершении жертвоприношения сам великий жрец будет заклинать его всенародно, чтобы он священными своими клещами поймал комету за хвост и удержал ее от падения. Расчет был весьма основателен; потому что, если комета пролетит мимо, это будет приписано народом святости великого жреца; если же обрушится, то Шимшик приобретет славу первого астронома в мире. Я смеялся в душе над шарлатанством того и другого; но мой тесть, церемониймейстер, узнав о затеваемом празднестве, совершенно потерял ум. Он забыл обо мне и своей дочери и

побежал к великому жрецу обдумывать вместе с ним план церемониала. Моя свадьба была отложена до окончания торжественного молебствия. Какое мучение жениться на дочери церемониймейстера во время появления кометы!..

Наконец молебствие благополучно совершилось, великий жрец исполнил свое дело, не улыбнувшись ни одного разу; умы несколько поуспокоились, и наступил день моей свадьбы, день, незабвенный во всех отношениях. Мой дом, один из прекраснейших в Хухуруне, был убран и освещен великолепно. Толпы гостей наполняли палаты. Саяна, в нарядном платье, казалась царицею своего пола, и я, читая удивление во всех обращенных на нее взорах, чувствовал себя превыше человека. Я обладал ею!.. Она теперь принадлежала мне одному!.. Ничто не могло сравниться с моим блаженством.

Однако ж и этот вечер, вечер счастья и восторга, не прошел для меня без некоторых неприятных впечатлений. Саяна, сияющая красотой и любовью, почти не оставляла моей руки: она часто пожимала ее с чувством, и всякое пожатие отражалось в моем сердце небесною сладостью. Но в глазах ее, в ее улыбке по временам примечал я тоску, досаду: она, очевидно, была опечалена тем, что брачный обряд положил преграду между ею и ее бесчисленными обожателями; что для одного мужчины отказалась она добровольно от владычества над тысячею раболепных прислужников. Эта мысль приводила меня в бешенство. Из приличия старался я быть веселым и любезным даже с прежними моими соперниками; но украдкою жалил острыми, ревнивыми взглядами вертевшихся около нас франтов и в лучи моих зениц желал бы пролить яд птеродактиля[89], чтоб в одно мгновение ока поразить смертью всех врагов моего спокойствия, чтоб истребить весь мужской род и одному остаться мужчиною на свете, в котором живет Саяна...

Ночь была ясна и тиха. После ужина многие из гостей вышли на террасу подышать свежим воздухом. Шимшик, забытый всеми в покоях, выскочил из угла и стремглав побежал за ними. Саяна предложила мне последовать за ним, чтоб позабавиться его рассуждениями. Наши взоры устремились на комету. До тех пор была она предметом страха только для суеверной черни; люди порядочные – у нас почиталось хорошим тоном ни во что не верить, для различия с чернию — люди порядочные, напротив, тешились ею, как дети, гоняющие по воздуху красивый мыльный пузырь. Для нас комета, ее хвост, споры астрономов и мой приятель Шимшик представляли только источник острот, шуток и любезного злословия; но в тот вечер она ужаснула и нас. С вчерашней ночи величина ее почти утроилась; ее наружность заключала в себе что-то зловещее, неволью заставлявшее трепетать. Мы увидели огромный, непрозрачный, сжатый с обеих сторон шар, темно-серебристого цвета, уподоблявшийся круглому озеру посреди небесного свода. Этот яйцеобразный шар составлял как бы ядро кометы и во многих местах был покрыт большими черными и серыми пятнами. Края его, очерченные весьма слабо, исчезали в туманной, грязной оболочке, просветлявшейся по мере удаления от плотной массы шара и наконец сливавшейся с чистою, прозрачною атмосферою кометы, озаренною прекрасным багровым светом и простиравшеюся вокруг ядра на весьма значительное расстояние: сквозь нее видно даже было мерцание звезд. Но и в этой прозрачной атмосфере, составленной, по-видимому, из воздухообразной жидкости, мелькали в разных местах темные пятна, похожие на облака и, вероятно, происходившие от сгущения газов. Хвост светила представлял вид еще грознейший: он уже не находился, как прежде, на стороне его, обращенной к востоку, но, очевидно, направлен был к Земле, и мы, казалось, смотрели на комету в конец ее хвоста, как в трубу; ибо ядро и багровая атмосфера помещались в его центре, и лучи его, подобно солнечным, осеняли их со всех сторон. За всем тем можно было заметить, что он еще висит косвенно к Земле: восточные его лучи были гораздо длиннее западных. Эта часть хвоста, как более обращенная к недавно закатившемуся солнцу, пылала тоже багровым цветом, похожим на цвет крови, который постепенно бледнел на северных и южных лучах круга и в восточной его части переходил в желтый цвет, с зелеными и белыми полосами. Таким образом, комета с своим кругообразным хвостом занимала большую половину неба и, так

сказать, всю массу свою тяготила на воздух нашей планеты. Светозарная материя, образующая хвост, казалась еще тоньше и прозрачнее самой атмосферы кометы: тысячи звезд, заслоненных этим разноцветным, круглым опахалом, просвечиваясь сквозь его стены, не только не теряли своего блеску, но еще горели сильнее и ярче; даже наша бледная луна, вступив в круг его лучей, внезапно озарилась новым, прекрасным светом, довольно похожим на сияние зеркальной лампы.

Несмотря на страх и беспокойство, невольно овладевшие нами, мы не могли не восхищаться величественным зрелищем огромного небесного тела, повисшего почти над нашими головами и оправленного еще огромнейшим колесом багровых, розовых, желтых и зеленых лучей, распущенным вокруг него в виде пышного павлиньего хвоста, по которому бесчисленные звезды рдели, подобно обставленным разноцветными стеклами лампадам. Мы долго стояли на террасе в глубоком безмолвии. Саяна, погруженная в задумчивость, небрежно опиралась на мою руку, и я чувствовал, как ее сердце сильно билось в груди.

— Что с тобою, друг мой? — спросил я.

— Меня терзают мрачные предчувствия, — отвечала она, нежно прижимаясь ко мне. — Неужели эта комета должна разрушить надежды мои на счастье с тобою, на долгое, бесконечное обладание твоим сердцем?..

— Не страшись, мой друг, напрасно, — примолвил я с притворным спокойствием духа, тогда как меня самого угнетало уныние. — Она пролетит и исчезнет, как все прочие кометы, и еще мы с тобою...

В ту минуту раздался в ушах моих голос Шимшика, громко рассуждавшего на другом конце террасы, и я, не кончив фразы, потащил туда Саяну. Он стоял в кругу гостей, плотно осаждавших его со всех сторон и слушавших его рассказ с тем беспокойным любопытством, какое внушается чувством предстоящей опасности.

— Что такое, что такое говорите вы, любезный мой наставник?.. — спросил я, остановясь позади его слушателей.

— Я объясняю этим господам настоящее положение кометы, — отвечал он, пробираясь ко мне поближе. — Она теперь находится в расстоянии только 160 000 миль от Земли, которая уже плавает в ее хвосте. Завтра в седьмом часу утра последует у нас от нее полное затмение солнца. Это очень любопытно.

— Но что вы думаете насчет направления ее пути?

— Что же тут думать!.. Она прямехонько стремится к Земле. Я давно предсказывал вам это, а вы не хотели верить!..

— Право, нечего было спешить с доверенностью к таким предсказаниям! Но скажите, ради Солнца и Луны, упадет ли она на Землю или нет?

— Непременно упадет и наделает много шума в ученом свете. Этот невежда, Бурубух, утверждал, что кометы состоят из паров и жидкостей; что они неплотны, мягки, как пареные сливы. Пусть же он, дурак, укусит ее зубами, ежели может. Вы теперь сами изволите видеть, как ядро ее темно, непрозрачно, тяжело: оно, очевидно, сделано из огромной массы гранита и только погружено в легкой прозрачной атмосфере, образуемой вокруг ее парами и газами, наподобие нашего воздуха.

— Следственно, падением своим она может произвести ужасные опустошения? — сказал я.

— Да!.. может! — отвечал Шимшик. — Но нужды нет: пусть ее производит. Круг ее

опустошений будет ограничен. Ядро этой кометы, как я уже имел честь излагать вам, в большем своем поперечнике простирается только на 189 миль. Итак, она своими развалинами едва может засыпать три или четыре области — положим, три или четыре царства; но зато какое счастье!.., мы с достоверностью узнаем, что такое кометы и как они устроены. Следственно, мы не только не должны страшиться ее падения, но еще пламенно желать подобного случая, для расширения круга наших познаний.

— Как? — воскликнул я. — Засыпать гранитом три или четыре царства для расширения круга познаний?.. Вы с ума сходите, любезный Шимшик!..

— Отнюдь нет! — возразил астроном хладнокровно; потом, взяв меня за руку и отведя в сторону от гостей, он примолвил с презабавным жаром: — Вы мне приятель! вы должны наравне со мною желать, чтоб она упала на Землю! Как скоро это случится, я подам царю прошение, обнаружу невежество Бурубуха и буду просить о назначении меня на его место царским астрономом, с оставлением и при настоящей должности. Надеюсь, что вы и ваш почтеннейший тесть поддержите меня при этом случае. Попросите и вашу почтенную супругу, чтоб она также похлопотала при дворе в мою пользу: женщины — знаете! — когда захотят... Притом же и сам царь не прочь от такого хорошенького личика...

Я остолбенел.

— Как!.. вы хотите!.. чтоб Саяна!.. чтоб моя жена!.. — вскричал я гневно и, вырывая от него мою руку с негодованием, толкнул его так, что горбатый проныра чуть не свалился с террасы. Прибежав к Саяне, я схватил ее в мои объятия и пламенно, страстно прижал ее к сердцу. Она и все гости желали узнать, что такое сказал мне астроном, полагая, наверное, что он сообщил мне важный секрет касательно предосторожностей, какие должно принимать во время падения комет; но я не хотел входить в объяснения и предложил всем воротиться в комнаты.

Тщетно некоторые из моих молодых приятелей старались восстановить в обществе веселость и расположение к забавам. Все мои гости были встревожены, расстроены, печальны. Столь внезапное увеличение кометы сообщало некоторую основательность пророчествам Шимшика и приводило их в ужасное беспокойство. Я желал, чтоб они скорее разъехались по домам, оставив меня одного с женою; но, в общем волнении умов, никто из них не думал об удовольствиях хозяина. Многочисленные группы мужчин и женщин стояли во всех покоях, рассуждая с большим жаром о предполагаемых следствиях столкновения двух небесных тел. Одни ожидали красного снега; другие — рыбного дождя; иные, наконец, читавшие сочинения знаменитого мудреца Бурбуруфона, доказывали, что комета разобьет Землю на несколько частей, которые превратятся в небольшие шары и полетят всякий своим путем кружить около Солнца. Некоторые уже прощались со своими друзьями на случай, ежели при раздроблении планеты они очутятся на отдельных с ними кусках ее; и эта теория в особенности нравилась многим из супругов, которые даже надеялись в минуту этого происшествия ловко перепрыгнуть с одного куска на другой, чтоб навсегда освободиться друг от друга и развестись без всяких хлопот, без шума, сплетен и издержек. Каждый излагал свое мнение и свои надежды, и все беспрестанно выходили на террасу и возвращались оттуда в покой с кучею известий и наблюдений. Шимшик, сделавшийся душою их споров, бегал из одной комнаты в другую, опровергал все мнения, объяснял всякому свою теорию, чертил мелом на полу астрономические фигуры и казался полным хозяином кометы и моего дома. У меня уже не доставало терпения. Я вздумал жаловаться на усталость и головную боль, намекая моим гостям, что скоро начнет светать; но и тут весьма немногие заметили мое неудовольствие и принялись искать колпаки. Наконец несколько человек простились с нами и ушли. Мой тесть также приказал подвести своего мамонта, объявив торжественно, что пора оставить новобрачных. Слава Солнцу и Луне!.. Пока что случится с Землею, а я сегодня женился и не могу первую ночь после брака посвятить одним теориям!..

Мы уже радовались этому началу, когда двое из гостей вдруг воротились назад с известием, что никак нельзя пробраться домой, ибо в городе ужасная суматоха, народ толпится на улицах, все в отчаянии, и никто не помышляет о покое. Новая неприятность!.. Я послал людей узнать о причине тревоги и через несколько минут получил донесение, что в народе вспыхнул настоящий бунт. Бурубух объявил собравшейся на площади черни, что он лично был всегда врагом зловредности комет и даже подавал мнение в пользу того, чтобы эта метла пролетела мимо Земли, не подходя к ней так близко и не пугая ее жителей; но что главный астроном Шимшик воспротивился тому формальным образом и своими сочинениями накликал ее на нашу столицу; и потому, если теперь произойдет какое-нибудь бедствие, то единственным виновником должно признать этого шарлатана, чародея, невежду, прониру, завистника, и прочая, и прочая. Народ, воспламененный речью Бурубуха, пришел в ожесточение, двинулся огромною толпою на обсерваторию, перебил инструменты, опустошил здание, разграбил квартиру Шимшика, и его самого ищет повсюду, чтоб принести в жертву своей ярости. Невозможно представить себе впечатления, произведенного в нас подобным известием, ибо все мы предчувствовали, что бешенство черни не ограничится разрушением обсерватории; но надобно было видеть жалкое лицо Шимшика во время этого рассказа!.. Он побледнел, облился крупным потом, пробормотал несколько слов в защиту своей теории и скрылся, не дослушав конца донесения.

В печальном безмолвии ожидали мы развязки возникающей бури. Поминутно доходили до нас известия, что народ более и более предается неистовству, грабит жилища знатнейших лиц и убивает на улицах всякого, кого лишь кто-нибудь назовет астрономом. Скоро и великолепная набережная Лены, где лежал мой дом, начала наполняться сволочью. Мы с ужасом вглядывались в свирепые толпы, блуждающие во мраке и оглашавшие своим воем портики бесчисленных зданий, как вдруг град камней посыпался в мои окна. Гости попрятались за стеною и за колоннами: Саяна в слезах бросилась ко мне на шею; теща упала в обморок; дядя закричал, что ему ушибли ногу; суматоха сделалась невероятною. Услышав, что буйный народ считает бальное освещение моего дома оскорблением общественной печали, я тотчас приказал гасить лампы и запирали ставни. Мы остались почти впотьмах, но тем не менее принимали все возможные меры к защите в случае нападения. Вид шумной толпы служителей, лошадей, слонов и мамонтов, собранных на моем дворе и принадлежавших пирующим у меня вельможам, удержал мятежников от дальнейших покушений. Спустя некоторое время окрестности моего дома несколько очистились, но в других частях города беспорядки продолжались по-прежнему.

День уже брезжил. Не смея в подобных обстоятельствах никого выгонять на улицу, я предложил моим гостям ложиться спать где кто может – на софах, на диванах и даже в креслах. Все засуетились, и я, пользуясь общим движением ищущих средства пристроиться на покой, утащил Саяну в спальню, убранныю со вкусом и почти с царскою роскошью. Она дрожала и краснела; я дрожал тоже, но ободрял ее поцелуями, ободрял нежными клятвами, горел пламенем, запирали двери и был счастлив. Все мятежи земного шара и все небесные метлы не в состоянии смутить блаженство двух молодых любовников, представших впервые с глазу на глаз перед брачным ложем. Мы были одни в комнате и одни на всей земле. Саяна в сладостном смущении опоясала меня белыми, как молоко, руками и, пряча пылающее стыдом, девственное, розовое лицо свое на моей груди, сильно прижалась ко мне – сильно, как дитя, прощающее навеки с дражайшею матерью. Я между тем поспешно выпутывал из шелковых ее волос богатое свадебное покрывало, срывал с плеч легкий, прозрачный платок, развязывал рукава и расстегивал платье сзади; и это последнее, скользя по стройному ее стану, быстро сснулось на пол, обнаружив моим взорам ряд очаровательных прелестей. Я жадно прикрыл их горящими устами... Казалось, что никакая сила в природе не в состоянии расторгнуть пламенного, судорожного объятия, в котором держали мы тогда друг друга. Слитые огнем любви в одно тело и одну душу, мы стояли несколько минут в этом положении посредине комнаты, без дыхания, без чувств, без памяти... как вдруг кто-то чихнул позади нас. Никогда удар молнии, с треском обрушившись на наши головы, не мог бы внезапнее

вывести нас из упоения и скорее приостановить в наших сердцах пылкие порывы страсти, чем это ничтожное действие страждущего насморком носа человеческого. Саяна вскрикнула и припала к земле; я отскочил несколько шагов назад и в изумлении оглянулся во все стороны. В спальне, однако ж, никого, кроме нас, не было!.. Я посмотрел во всех углах и, не найдя ни живой души, уверял жену, что это нам только так слышалось. Едва успел я успокоить ее несколько поцелуями, как опять в комнате раздалось чихание; и в этот раз уже в определенном месте – именно под нашу кроватью. Я заглянул туда и увидел две ноги в сапогах. В первом движении гнева я хотел убить на месте несчастного наглеца, осмелившегося нанести подобную обиду скромности юной супруги и святотатным своим присутствием поругаться над неприкосновенностью тайн законной любви: я схватил его за ногу и стал тащить из-под кровати, крича страшным голосом: «Кто тут?.. Кто?.. Зачем?.. Убью мерзавца!..»

— Я!.. я!.. погоди, любезнейший!.. Пусти!.. Я сам вылезу, — отвечал мне незванный гость.

— Говори, кто ты таков?

— Да не сердись!.. это я. Я — твой приятель...

— Кто?.. какой приятель?..

— Я, твой друг!.. Шимшик.

У меня опали руки. Я догадался, что он, спасаясь от поиска мятежников, завернул под нашу кровать единственно со страху, и мое исступление превратилось в веселость. Несмотря на отчаяние стыдливой Саяны, я не мог утерпеть, чтоб не расхохотаться.

— Ну что ты тут делал, негодяй?.. — спросил я его с притворною суровостью.

— Я?.. я, брат, ничего худого не делал, — отвечал он, трепеща и карабкаясь под кроватью. — Я хотел наблюдать затмение Солнца...

Моя суровость опять была обезоружена. Тогда как, помирая со смеху, я помогал трусливому астроному вылезти задом из этой небывалой обсерватории, Саяна, по моей просьбе накинув на себя ночное платье, выбежала в боковые двери, ведущие в комнаты моей матери. Она была чрезвычайно огорчена этим приключением и моим неуместным смехом и, выходя из спальни, кричала гневно, пополам с плачем, что это ужас!.. что, видно, я не люблю ее, когда, вместо того, чтоб поразить этого дурака кинжалом, хохочу с ним об ее посрамлении!.. что она никогда ко мне не возвратится!.. Вот откуда нагрянула беда!

Стена II

Я полетел вслед за Саяною, желая усмирить ее сознанием своей вины, даже обещанием примерно наказать астронома; но у матушки было множество женщин, большею частью полураздетых; при моем появлении в дверях ее покоев они подняли такой крик, что я принужден был уйти назад в спальню. Возвращаясь, я побожился, что непременно убью Шимшика; но едва взглянул на его длинное, помертвелое со страху лицо, как опять стал смеяться!..

Я взял его за руку и безо всяких чинов вытолкнул коленом в залу, где, к моему удивлению, никто не думал о сне. Все мои гости были на ногах и расхаживали по комнатам в страшном беспокойстве. Нестерпимая духота, внезапно разливавшаяся в воздухе, не позволила никому из них сомкнуть глаз, а плачевные известия из города, опустошаемого бесчинствующею чернью, и вид кометы, сделавшийся еще грознее при первых лучах солнца, действительно

могли взволновать и самого хладнокровного. Как скоро я появился, многие из них, окружив меня, почти насильно утащили на террасу, чтоб показать мне, что делается на небе и на земле. Я оледенел от ужаса. Комета уподоблялась большой круглой туче и занимала всю восточную страну неба: она потеряла свою богатую, светлую оболочку и была бурого цвета, который всякую минуту темнел более и более. Солнце, недавно возникшее из-за небосклона, уже скрывало западный свой берег за краем этого исполинского шара. Под моими ногами город гремел глухим шумом и во многих местах возвышались массы густого дыму, в котором пылало пожарное пламя; по улицам передвигались дикие шайки грабителей, обогранных кровию и, перед лицом опасности, увлекающей всю природу в пропасть гибели, еще с жадностью уносящих в общую могилу исторгнутое у своих сограждан имение.

Спустя четверть часа солнце совершенно скрылось за ядром кометы, которая явилась нашим взорам черною, как смоль, и в таком близком расстоянии от земли, что можно было видеть на ней ямы, возвышения и другие неровности. В воздухе распространился почти ночной мрак, и мы ощутили приметный холод. Женщины начали рыдать; мужчины еще обнаруживали некоторую бодрость духа и даже старались любезничать с ними, хотя многие натянутыми улыбками глотали слезы, невольно сталкиваемые с ресниц скрытным отчаянием. Мне удалось проникнуть до Саяны. Она разделяла общее уныние и сверх того сердилась на меня. Я взял ее руку; она вырвала ее и не хотела говорить со мною. Я упал на колени, молил прощения, клялся в своей беспредельной любви, клялся в преданности, в послушании... Ничто не могло смягчить ее гнева. Она даже произнесла ужасное в супружестве слово — мщение!.. Холодная дрожь пробежала по моим членам, ибо я знал, чем у нас (перед потопом [90]) женщины мстили своим мужьям и любовникам. Эта угроза взбесила меня до крайности. Мы поссорились, и я бледный, с расстроенным лицом, с пылающими глазами выбежал опроретью из ее комнаты.

К довершению моего смятения я неожиданно очутился среди моих гостей. Они уже не думали ни о комете, ни о бунте, ни о пожаре столицы. Я даже удивился их веселому и счастливому виду. Отгадайте же, чем были они так осчастливлены? — моим несчастьем! Они уже сообщали друг другу на ухо о любопытном происшествии, случившемся ночью в моей спальне. Одни утверждали, что новобрачная ушла от меня с криком и плачем к своей маменьке; другие важно объясняли этот поступок разными нелепыми на мой счет догадками; иные, наконец, уверяли положительно, что Саяна вышла за меня замуж по принуждению, что она терпеть меня не может и что даже я застал ее в спальне с одним молодым и прекрасным мужчиною, ее любовником, который тотчас спрятался под кроватью. Насмешливые взгляды, намеки, остроты насчет супружеского быта и кривляния ложного соблезнования, посыпавшиеся на меня со всех диванов и кресел, ясно дали мне почувствовать, что мое семейное счастье уже растерзано зубами клеветы; что мои любезные друзья, столкнув честь юной моей супруги и мою собственную в пропасть своего злословия, поспешили завалить ее осколками своего остроумия и еще стряхнули с себя на них грязь своих пороков. Я измерил мыслию эту пропасть и содрогнулся: мое прискорбие, мое негодование не знали предела. И, несмотря на это, я был принужден из приличия показывать им веселое лицо, улыбаться и дружески пожимать руки у моих убийц. О люди!.. о мерзкие люди!.. Злоба у вас сильнее даже чувства страха; вы готовы следовать ее внушениям на краю самой гибели. Общество!.. горький состав тысячи ядовитых страстей!.. жестокая пытка для неразвращенного сердца!.. Ежели тебе суждено погибнуть теперь вместе с нами, то я душевно поздравляю себя с тем, что дал бал на твое погребение.

Не зная, куда деваться от людей и от самого себя, я опять вышел на террасу, сел в уединенном месте и, в моем огорчении, злобно любовался зрелищем многочисленных пожаров, которым мрак затмения сообщал великолепие отверзтого ада. Между тем утомленные разбоем и застигнутые среди светлого утра полночною темнотою мятежники мало-помалу рассеялись, и мои дорогие гости начали разъезжаться. Я уснул под раскинутую на террасе палаткою, чтоб не прощаться и не видеться с ними.

Затмение продолжалось до второго часу пополудни. Около того времени небо несколько просветлело, и узкий край солнца мелькнул из-за обращенного к западу края кометы. Я проснулся, сошел вниз и уже никого не застал в покоях. Скоро солнце засияло полным своим блеском; но в его отсутствие окружность кометы удивительно расширилась. С одной стороны значительная часть грязного и шероховатого ее диска погружалась за восточную чертою горизонта, тогда как противоположный берег упирался в верх небесного свода. Такое увеличение ее наружности, при видимом удалении ее от наших глаз к востоку, ясно доказывало, что она летит к Земле косвенно. В пятом часу пополудни она совсем закатилась.

Я застал Саяну и мою мать в слезах: не зная, что со мною случилось, они терзались печальными за меня опасениями — не вышел ли я из любопытства на улицу и не убит ли мятежною чернью за мои связи с Шимшиком. Мое появление исполнило их радости. Жена уже на меня не гневалась. Мы поцеловались с нею перед обедом; за обедом мы были очень нежны; после обеда еще нежнее...

Мы тогда были в спальне. Солнце уже клонилось к закату. Саяна сидела у меня на коленях, приклонив прелестную свою голову к моему плечу и оплетая мою шею своими руками. Я держал ее в своих объятиях и с восторгом счастливого любовника повторял ей, что теперь уже ничто не разлучит нас, ничто не смутит нашего блаженства. Она скрепила мое предсказание приложением горящего девственным стыдом долгого, долгого поцелуя, и мы, сплоченные его магнитною силою, упивались чистейшей сладостью, дыша одною и тою же частицею воздуха, чувствуя и живя одною и тою же душою, как вдруг уста наши были расторгнуты внезапным потрясением всей комнаты. Казалось, будто пол поколебался под нами. Вслед за этим вторичный удар подтвердил прежнее ощущение, и пронзительный вой собак, раздавшийся в ту самую минуту, решил все догадки. Я схватил Саяну за руку и быстро потащил к дверям, говоря: «Друг мой!.. землетрясение!.. Надо уходить из комнат».

Мы пробежали длинный ряд покоев среди непрерывных ударов потрясения, повторявшихся всякий раз чаще и сильнее. Лампы, подсвечники, статуи, картины, вазы, стулья и столики падали одни за другими кругом нас на землю; пол качался под нами, подобно палубе колеблемого волнами судна. Я кричал моим людям, чтоб они скорее спасались на двор, чтоб выводили из конюшен лошадей, мамонтов, мастодонтов, и сам с трепещущею Саяною стремглав бежал к лестнице, прыгая через опрокинутую утварь и уклоняясь от падающих со стен украшений. Едва достигли мы до сеней, как в большой зале с ужасным треском обрушился потолок, настанный из длинных и широких плит. На лестнице, где мы, слуги и невольники столпились все вместе, два новых подземных удара, поколебавшие землю в двух противоположных направлениях, свалили всех нас с ног, и мы целою громадою покатались вниз, один через другого, по лопающимся под нами ступеням, из которых последние уже не существовали. Стон раненых, крик испугавшихся и придавленных оглушили меня совершенно; но любовь сохранила во мне присутствие духа: я не выпустил руки Саяны. Таким образом мы с нею удержались на груди свалившегося у подножия лестницы народа, не попав на торчащие обломки камней, о которые многие разразились.

Но вставание было опаснее падения, ибо одновременные усилия высвободиться из кучи произвели в ней страшное замешательство. Всякий толкал или старался скинуть с себя своего соседа. При помощи одного невольника, который счастливо удержался на ступенях и схватил Саяну на руки, я успел вырваться из лежащей в беспорядке толпы, и мы втроем первые выскочили на двор. Вся остальная куча была в то же мгновение сплюснута, разможжена, смолота внезапно слетевшим на нее великолепным сводом сеней, и кровь, выжатая из нее, брызнула во все стороны сквозь камни, как вода от брошенного в нее бревна.

Мы были на дворе, но отнюдь не вне опасности. Мои мастодонты, мамонты, слоны, верблюды и лошади, ведомые верным инстинктом животных, при первых признаках

землетрясения силою освободились из своих тюрем, разломали стойла и двери и выбежали на открытый воздух. Двор уже был наполнен ими, когда мы туда прибыли. Их беспокойство и трепет, сопровождаемые громовым ревом, умножали суматоху между спасающимися и спасающимися, которые также вопили, кричали и бегали. Положение наше было ужасно. С одной стороны – целые ряды колонн, целая стена моих великолепных чертогов валились вокруг нас на землю, как детские игрушки, тронутые потаенною пружиною, бросая нам под ноги большие глыбы камня и засыпая глаза пылью; с другой – разъяренный мамонт или мастодонт одним поворотом своих исполинских клыков, похожих на длинные и толстые костяные колоды, одним ударом своих огромных ног мог бы истребить и потоптать нас. Между тем ад бушевал под нашими стопами. Подземный гром с оглушительным треском и воем беспрерывно катился под самую почву, которая с непостижимою упругостью то раздувалась и поднималась вверх, то вдруг опадала, образуя страшные углубления, подобно волнам океана. В то же самое время поверхность ее качалась с севера на юг, и вслед за тем черта движения переменялась, и возникало перекрестное качание с востока на запад или обратно. Потом казалось, будто почва кружится под нами: мы, верблюды и лошади падали на землю, как опьяневшие; одни мамонты и мастодонты, расставив широко толстые свои ноги и вертя хоботами для сохранения равновесия, удерживались от падения. Изо всего семейства только я, Саяна и мой меньшой брат остались в живых; прочие, мать и сестра, и большая половина нашей многочисленной дворни не успели отыскать выхода и погибли в разных частях здания.

Уже наступала ночь. Землетрясение не уменьшалось, но для нас не было столь страшным. В два часа времени мы так к нему привыкли, как будто оно было всегдашнее состояние попираемой нами почвы: всякий избрал себе самое удобное на волнующейся земле положение и в молчании ожидал конца бури. Опасение быть раздавленным падением стен и портиков не могло тревожить нас более, ибо дом был разрушен до основания и представлял одну плоскую, широкую грудку развалин, заключавшую нас и весь двор в своем кругу. Брусья и колонны были перемешаны в дивном беспорядке; связь строения разорвана; каждый камень лежал особо под другим камнем или подле него: они казались одушевленными судорожною жизнью червей, сложенных в кучу: при всяком ударе землетрясения, особенно когда почва выдувалась и опадала, они двигались, ворочались, становились прямо, падали и пересыпались целыми массами с одного места на другое, выбрасывая по временам из недр своих смолотые члены раздавленных ими жителей и опять поглощая их во внутренность разрушения.

Все было потеряно. Оставалось только подумать о том, как провести ночь на зыблущейся земле, под открытым небом, на середине обширного круга движущихся развалин. Весьма немного платья и еще меньше жизненных припасов было спасено моими людьми в самом начале бедствия: мы разделили все это между собою по равным частям. Два маленькие хлеба и кусок оставшегося от обеда жареного аноплотериума[91] составили превосходный ужин для Саяны и для меня с братом. Я закутал мою невинную жену в плащ одного конюха, и мы решились просидеть до утра на том же месте.

Несмотря на внутренние терзания планеты, которая при всяком ударе должна бы, казалось, разбиться в мелкие куски, над ее поверхностью царствовала ночь, столь же прекрасная, светлая и тихая, как и вчерашняя. Луна белыми лучами сребрила печальную могилу нашей столицы. Небо пылало звездами; но, к удивлению, не было видно кометы. Мы полагали, что она взойдет позже, и не дождалась ее появления. Неужто она исчезла?.. Неужели в самом деле где-нибудь обрушилась она на землю?.. Это землетрясение не есть ли следствие ее падения?.. Проклятый Шимшик! Он уверял нас, что комета опустошит только то место, о которое сама она расшибет свои бока!.. Но падение свершилось, и наш Шимшик прав: он умнее Бурубуха!.. Впрочем, это только случай, заметила Саяна: один из них предсказывал, что она упадет, другой — что она пройдет мимо: то или другое было неизбежно.

Тогда как мы были заняты подобными рассуждениями, подземные удары становились

гораздо слабее и реже. Гром, бушевавший в недрах шара, превратился в глухой гул, который иногда умолкал совершенно, и в этих промежутках мучений природы рыдание жен и матерей, стон раненых и умирающих, крик или, лучше сказать, вой отчаяния уцелевших от гибели, но лишенных приюта и пропитания, жестоко потрясали наш слух и наши сердца. Нам довольно было взглянуть на самих себя, чтобы постигнуть горесть других.

Наконец настал день. Мы почти не узнали вчерашних развалин. Длинные брусья и большие камни были разбиты в мелкие части и как бы столчены в иголки[92]; город представлял вид обширной насыпи обломков. Величественная Лена, протекавшая под моими окнами, оставила свое русло и, повернувшись к западу, проложила себе новый путь по опрокинутым башням, по разостланным на земле стенам прежних дворцов и храмов. Во многих местах груды развалин запрудили ее волны и заставили их расстроиться по городу в разных направлениях. На площадях, на дворах больших строений и в углублениях почвы образовались бесчисленные лужи, и вся западная часть столицы представляла слепление множества озер различной величины, из которых там и сям торчали уединенные колонны и дымовые трубы, дивною игрою природы оставленные на своих основаниях, чтоб служить могильными памятниками погребенному у их подножия городу. Наводнение не коснулось восточного берега, на котором находился мой дом; но мы заметили, что подобные лужи уже начинали появляться и по сию сторону прежнего русла реки. Землетрясение едва было ощутительно, однако не прекращалось, и от времени до времени более или менее сильный удар грозил, казалось, возобновлением вчерашних ужасов. Итак, нечего было долее оставаться на месте. Все уцелевшее народонаселение столицы спасалось на возвышениях, окружавших Хухурун с востока: мы последовали общему примеру.

Строение, в котором помещались мои конюшни и где жили мои мамонты, мастодонты и некоторые слуги, было деревянное, из прекрасного райского лесу. Мы раскидали переломанные бревна и вытащили из-под них все, что только нашли годного к употреблению. Нагрузив на одного мастодонта этот скудный остаток нашего богатства, я, Саяна, мой брат, два невольника и одна служанка сели на моего любимого рыжего мамонта; прочие служители взобрались на слонов и верблюдов или взялись вести в руках лошадей, и мы тронулись со двора, пробираясь через развалины дома. После долгих борений с преградами выехали мы на большую улицу, ведущую к восточной заставе, и слились с потоком народа, стремившегося в один и тот же путь с нами. Я не в силах передать впечатления, произведенного во мне зрелищем этого бесконечного погребального шествия, медленно и печально пробиравшегося узкою тропинкой между высокими валами обломков. Подобные нашей, длинные цепи мертвецов, восставших поутру из могилы своей родины, тянулись и по другим улицам. Не только люди, но и животные чувствовали огромность случившегося несчастья: мамонты явно разделяли нашу горесть. Эти благородные создания, первые в природе после человека, даже превыше многих людей одаренные редким умом и превосходною чувствительностью, принимали трогательное, хотя безмолвное участие в общественной печали. Мой рыжий мамонт, свободно понимавший разговоры на трех языках, колотил себя хоботом по бокам и грустно вздыхал, проходя мимо разрушенных жилищ моих приятелей, которых почитал он своими. Увидев моего дядю, расхаживающего по развалинам нового своего дома, он остановился и не хотел идти далее, пока мы не скажем старику несколько утешительных слов.

— Мои картины!.. мои антики!.. — восклицал дядя жалостным голосом. — Ах, если б я мог отыскать мою сковороду второго века мира, за которую заплатил так дорого!..

— Возьмите вместо ее один кирпич из развалин вашего нового дома, — сказал я ему. — Он со вчерашнего числа уже поступил в разряд драгоценных антиков.

— Ты ничего не смыслишь в древностях!.. — отвечал дядя и опять стал рыться в развалинах. Он вытащил из них какую-то тряпку и начал с жаром излагать нам ее достоинства; но мой мамонт, видя, что дядя нимало не стал умнее от землетрясения, не хотел слушать вздору, и

мы уехали.

Сожаление дяди о потере предмета столь пустой прихоти вынудило у меня улыбку; но она вдруг погасла, и я опять погрузился в мрачную думу, которая угнетала мою грудь с самого утра. Кроме скорби, возбуждаемой общим бедствием, моя любовь к Саяне была главным ее источником. Я принужден был страдать ревностью даже среди ужасов вспыхнувшего мятежа природы. Саяна плакала, не говорила со мною, отвергала мои утешения, и я по несчастию постигал причину ее горести: она грустила не о потере имения, не о гибели родных и отечества, не об истреблении нескольких сот тысяч сограждан, но о разрушении гостиных, о расстройстве общества — того избранного, шумного, блестящего общества, в котором царствовала она своею красотой; где она счастливала своими улыбками и приводила в отчаяние своими суровыми взглядами; где жили ее льстецы; где она затмевала и бесила своих соперниц. Спасение одного любовника, одного верного друга, не могло вознаградить ей отсутствия толпы холодных обожателей, рассеянного внезапною бурей роя красивых мотыльков, с которыми играла она всю свою молодость. Я для нее был ничто, или, лучше сказать, я был все — но один. Ей казалось, что нам вдвоем будет скучно!.. Я утверждал противное, доказывая, что без этих господ нам будет гораздо веселее. Легкий упрек в тщеславии, который позволил я себе сделать ей при этом случае, весьма ей не понравился. Она рассердилась, и мы поссорились верхом на мамонте. Мы оборотились друг к другу задом. Мой мамонт выпрямил свой хобот вверх, наподобие столба, и покачал им тихонько в знак того, что нехорошо так ссориться в присутствии всего города!.. Я сказал мамонту, что он дурак.

«Итак, мои любовные мучения, — подумал я, — не прекратились ни супружеством, ни землетрясением!.. Это почти невероятно. Вот что значит модная женщина, воспитанная в вихре большого света!.. Надобно же, чтоб подобные женщины были прелестны собою и чтоб люди были обязаны влюбляться в них без памяти?..»

Мы уже выехали из города, уже поднимались на высоты - и все еще не говорили друг с другом ни слова. Почва, по которой мы проезжали, была истрескана в странные узоры, и на пути нередко попадались широкие трещины, через которые следовало перескакивать. Холмы были разрушены: одни осыпались и изгладились; другие лежали разбитые на несколько частей. В иных местах разверзтая планета изрыгнула из своего лона кучи огромных утесов. Прежние озера иссякли, и вместо их появились другие. Но самый примечательный признак опустошения являли деревья: леса были исклочены; в роще и на поле не оставалось и двух деревьев в перпендикулярном положении к земле: всё стояли вкось, под различными углами наклона и всякое в свою сторону. Многие дубы, теки, сикоморы[93] и платаны были скручены, как липовые веточки, а некоторые расколоты так, что человек удобно мог бы пройти в них сквозь пень, как в двери. Мы долго искали цельного и не занятого другими куска земли, где бы могли временно поселиться, и наконец остановились в одной пальмовой роще. Мои люди мигом построили для нас шалаш из ветвей.

Сверх всякого чаяния, мы тут очутились в кругу наших знакомцев. Туча молодых франтов слетелась к нам изо всей рощи. Рассказы о вчерашних приключениях, шутки над минувшею опасностью, приветствия и остроты, лесть и злословие превратили наш приют в блистательную гостиную или в храм лицемерства. Саяна вдруг развеселилась. Она опять улыбалась, опять господствовала над всем мужским полом и опять была счастлива. В общей и весьма искусной раздаче приветливых взглядов и я, покорнейший муж и слуга, удостоился от нее одного, в котором большими иероглифами начертано было милостивое прощение моей неуместной ревности и преступного желания, чтоб моя жена нравилась только одному мне. Я чуть не лопнул с досады.

Но вскоре убедились мы, что опасность еще не миновала. Не одна Лена переменяла свое направление: все вообще реки и потоки оставили свои русла и, встретив преграды на вновь избранном пути, начали наводнять равнины. Вода показалась в небольшом расстоянии от

нашего стана и поминутно поглощала большее и большее пространство. Некоторые утверждали, что она вытекает из-под земли, и здесь в первый раз произнесено было между нами ужасное слово — потоп! Все были того мнения, что надобно уходить в Сасахаарские горы, куда многие семейства отправились еще на заре.

Роща в одно мгновение ока оживилась повсеместным движением. Одни укладывали свои пожитки, другие седлали лошадей и слонов. Пока мои люди занимались подобными приготовлениями и моя жена заключала с вежливыми прислужниками трактат не оставлять друг друга в путешествии, я узнал случайно о спасении моей матери. Она не погибла в развалинах дома; она выскочила в окно на набережную, когда мы уходили на двор; многие видели ее недалеко от рощи, с одним знакомым нам семейством. Сердце мое сильно забилося от радости: я хотел тотчас бежать к возлюбленной родительнице, к одному истинному другу в этой горькой жизни. Но как тут быть?.. Оставить молодую, невинную супругу в кругу этих вертопрахов невозможно!.. Я предложил Саабарубу, тому самому идолу наших женщин, к которому ревновал Саяну, будучи еще женихом, и который теперь отчаянно любезничал с нею, пособить мне отыскать матушку. Он извинился каким-то предлогом, которого я не понял, но который жена нашла крайне уважительным. Я обнаружил беспокойство. Они посмотрели друг на друга и на меня и улыбнулись. Я в ту минуту готов был убить на месте их обоих; но, подумав, что женатому человеку неприлично сердиться на друзей своей супруги даже и после землетрясения, предпочел покрыть молчанием эту обидную улыбку. Они, очевидно, издевались над моею ревностью!.. Итак, я вышел из шалаша; но, уходя, бросил на Саяну страшный взгляд, от которого она содрогнулась. Я взобрался на мамонта в совершенном расстройстве духа и, приказав людям дожидаться моего возвращения, с двумя невольниками отправился искать матушку.

Ее уже не было в указанном месте. Я объехал все окрестности, расспросил повсюду и нигде не доискался следа ее. Эта неудача огорчила меня еще более. Около полудня воротился я в рощу, которая уже была оставлена всеми и отчасти потоплена водою. Брат и слуги находились в жестоком беспокойстве. Я рассеянно подал знак к отъезду, спрашивая, где Саяна. Мне отвечали хладнокровно, что она ушла в рощу и не возвращалась.

— Как?.. Саяна ушла?.. Она не возвращалась?..

И холодный пот выступил у меня на посиневшем челе, на дрожащих руках.

— Она не возвращалась!.. Моя бедная, моя дражайшая Саяна!..

Первая мысль была о том, что она утонула. Я хотел бежать искать ее по всей роще, но служанка, безмолвно протянув руку, отдала мне записку на свернутом лоскутке папируса. Я раскрыл ее... О горе!.. там были начертаны женским почерком и даже без правописания только два следующие иероглифа:

Гнев, негодование, отчаяние, ярость вспыхнули в душе моей со всей силою огорченной любви, со всею неукротимостью обиженной чести. Итак, Саяна изменила мне!.. Она предпочла услужливость, лицемерное рабство низкого обольстителя мне, моей любви, нашему счастью!.. Вероломная, коварная!.. Уходит от своего мужа с любовником во время всеобщего потопа!.. Ах он негодяй! Клянусь Солнцем и Луною, что этот кинжал!.. Что в их преступной крови!.. И волны мести, хлынувшие из сердца, залили мне голос в горле. Я не мог произнести более ни слова: только махнул брату рукою, давая знать, что предоставляю ему людей и все имущество, и в ту же минуту поскакал за уезжающими отыскивать жену и Саабаруба. Я не сомневался, что она убежала с этим повесою.

Но как и где найти их в такой тьме народа, бегущего из городов и селений, заваливающего все переправы, покрывающего все дороги и сухие места частыми, непроницаемыми толпами?.. Я скакал взад, вперед и поперек, бросался наудачу в различные стороны, спрашивал, заглядывал, подстерегал: нигде ни следа их!.. Как будто нырнули в воду! Я хотел воротиться к брату и его не отыскал. Пожираемый жгучей грустью, изнемогающий под бременем уныния, бесчестия, стыда, усталый, почти мертвый, наконец потерял я всю надежду и решил спокойно ехать вместе с прочими в горы. Там судьба счастливым случаем скорее может поблагоприятствовать моему мщению, чем здесь нарочные поиски.

В четвертом часу пополудни прибыли мы к одной переправе, образованной широко разлившимся ручьем. Бредущие в нем пешеходцы расступились, чтобы пропустить меня, один лишь крошечный, горбатый человечек, стоявший по колени в воде и который, казалось, весь дрожал со страху при виде брода не по его росту, не примечал нашего натиска и, несмотря на наш крик, никак не хотел посторониться. Мой мамонт мчался быстро, и мы уже думали, что он затопчет его в грязи, как вдруг великодушный гигант животного царства, чтоб очистить себе дорогу без угнетения пешеходцев, схватил его на бегу концом исполинского своего хобота, поднял вверх выше головы и понес через воду, как сноп соломы, воткнутый на длинные вилы. Горбатый человечек визжал, вертелся, махал ногами и руками, не постигая, что с ним случилось; мои невольники помирали со смеху; я приказывал им остановить мамонта, боясь, чтобы честная скотина из человеколюбия не задушила его в своих объятиях, когда он, нечаянно поворотив к нам голову, увидел меня на седле и вскричал радостным голосом:

— Ах!.. Вы здесь?.. Как я рад встретиться с вами в сем удобном месте...

— Шимшик!.. Шимшик!.. — воскликнули мы единогласно, приветствуя его громким смехом.

— Спасите меня!.. — кричал несчастный астроном. — Ай!.. Он помял мне все кости!.. Ну, что комета?.. Не говорил ли я вам?.. Ай, ай, ради Солнца!..

Пробежав брод, наш великан сам остановился и с удивительной ловкостью поставил бедного Шимшика на ноги. Мы бросили астроному веревочную лестницу, втащили его на седло и помчались далее. Шимшик рассказал мне свои приключения, я сообщил ему мои: он был сильно тронут моим несчастьем. Он спас свои сочинения, свои открытия и теории, которыми собирался изумить современников и потомство; все его карманы были набиты славой, и, когда настигли мы его у переправы, он был в большом затруднении и не знал, что с собою делать, не смея отставать от бегущих и боясь замочить в ручье свое бессмертие. К счастью, добрый мамонт вывел его из этого неприятного положения и сохранил для науки и чести Барабии. Узнав от меня об измене Саяны, он воскликнул: «Ну, что?.. Не предсказывал ли я вам, что если бедствие случится с землею, то единственно из-за женщин?.. По несчастью, теперь нет и средства спасти ее: говорят, что негры Шах-шух (Новой Земли), сведав о нашем намерении оскотить все их царство, дрались как мегалотерионы и разбили наших, которые теперь бегут от них к столице. Вся надежда на получение евнухов исчезла: а это было одно средство обуздать разврат женского пола и восстановить нравы!..»

Наконец достигли мы гор, проскакав на мамонте в шесть часов девяносто географических миль. Мы находились на границе нашего прекрасного отечества, отделявшей его от двух больших государств, Хабара и Каско. Остановясь, мы заметили, что земля все еще шевелится под нами. В некоторых местах каменный хребет казался еще согретым от подземного огня, незадолго пред тем пролетавшего с громом в его внутренности. Разрушение природы представлялось здесь в самом величественном и ужасном виде: гранитные стены были исписаны трещинами, из которых многие походили на пропасти; ущелия были завалены обрушившимися вершинами, толстые слои камня взорваны и взрыты, утесы вместе с росшими на них лесами опрокинуты, смяты, растасканы. Сасахаарские горы после вчерашнего землетрясения уподоблялись постели двух юных любовников, только что

оставленной ими поутру в живописном беспорядке: развалины пылких страстей, еще дышащие вулканической теплотой их сердец, среди холодных уже следов первого взрыва их любви.

Со времени поселения нашего в горах события и ужасы преследовали друг друга и нас с такою быстротою, что никакое воображение не в силах передать их другому, ни себе представить. Земля, небо, стихии, люди и их мятежные страсти были смешаны в один огромный хаос и вместе образовали мрачную, шумную, свирепую бурю.

Когда мы прибыли, горы уже были покрыты спасавшимся отсюда народом.

Противоположная их отлогость была усеяна камнями различных цветов и видов, в числе которых многие удивляли нас своею красотою, прозрачностью и огненным блеском, а иные своим сходством с громовыми стрелами. Но с одной подоблачной вершины беглецы из тех окрестностей указали нам в северо-восточной стороне горизонта зрелище еще любопытнейшее – предлинный хребет гор, съезженный чрезвычайно высокими и острыми массаами, которого прежде там не бывало. Это была одна только оконечность развалин вчера разразившейся о Землю кометы, которая разостлалась по ней необозримою чертою с бесчисленными боковыми ветвями; которая потрясла ее в самом основании и, ядром своим загромоздив огромную полосу нашего шара, по сторонам наваленных ею исполинских громад гранитной материи, все пространство смежных земель залила и засыпала дождем из грязи и песку и сильным каменным градом, шедшими несколько часов сряду во время и после ее падения. Следы этого града, коснувшегося самой подошвы Сахаарских гор, видели мы в тех незнакомых нам разноцветных камнях и блестящих голышах, а беглецы представили нам образцы красного и желтого песку, составлявшего, по-видимому, почву кометы и подобранного ими на примыкающей к горам равнине. Желтый песок красивою, лоснящеюся своею наружностью в особенности чаровал наши взоры и сердца; всякий из нас хотел иметь у себя хоть несколько его зернышек. Он, видно, считался на комете весьма дорогою вещью.

По их рассказам, падению ее предшествовал...

Стена III

...страшный гул с треском в возвышенных странах атмосферы и вскоре совершенный мрак, прорезываемый яркими огнями, как бы выжатыми из воздуха, придавленного ее натиском, еще увеличил ужас роковой минуты. В то самое время пятьсот тысяч воинов Хабара и Каско стояли на поле сражения, защищая кровию и жизнью честолюбие своих предводителей, тщеславие своих сограждан и неприкосновенность небольшого куска земли, бесполезного их предводителям, согражданам и им самим. Военачальники воспламеняли их храбрость, толкая грозные небесные явления в смысле благополучного для них предвещения и напоминая им о нетленной славе, долженствующей скоро увенчать их великие, бессмертные подвиги; города, села, деревни, крыши домов и холмы кипели народом, ожидавшим в беспокойстве следствия огненной борьбы стихий и кровавой борьбы своих ближних; поля и луга пестрели несметными стадами, которые, остолбенев со страху, забыв о корме, в общем предчувствии гибели соединяли печальное свое мычание с ревом львов, тигров и тапиров[94], трепещущих в лесах и вертепах; воздух гремел смешанным криком непостижимого множества птиц, летавших густыми стаями в поминутно усиливающимся мраке – когда тяжелая масса воздушного камня с быстротою молнии хлынула на всю страну!.. Человечество и животное царство изрыгнули один внезапный, хрипловый стон, и вместе с этим стоном были разможены слетевшими с неба горами, которые обрызганным их кровию основанием мигом сплюснули, раздавили и погребли навсегда быть надежды, гордость, славу и злобу бесчисленных миллионов существ. На необозримой могиле пятидесяти самолюбивых народов и пятисот развратных городов вдруг соорудился огромный, неприступный, гремещий смертельным эхом и скрывающий куполы свои за облаками гробовый памятник, на котором судьба вселенной разбросанными в

беспорядке гранитными буквами начертала таинственную надпись: «Здесь покоится половина органической жизни этой тусклой, зеленой планеты третьего разряда».

Мы стояли на утесе и в унылом безмолвии долго смотрели на валяющийся в углу нашего горизонта бледный, безобразный труп кометы, вчера еще столь яркой, блистательной, прекрасной, вчера еще двигавшейся собственной силою в пучинах пространства и как бы нарочно прилетевшей из отдаленных миров, от других солнц и других звезд, чтоб найти для себя, возле нас смертных, гроб на нашей планете и прах свой, перемешанный с нашим прахом, соединить с ее перстью.

Между тем другое явление, происходившее над нашими головами, проникло нас новым страхом. Уже прежде того мы заметили, что солнце слишком долго не клонится к закату: многие утверждали, что оно стоит неподвижно; другим казалось, будто оно шевелится вокруг одной и той же точки; иные, и сам Шимшик, доказывали, что оно, очевидно, сбилось с пути, не знает астрономии и забрело вовсе не туда, куда б ему следовало идти с календарем Академии в кармане. Мы объясняли это событие разными догадками, когда одним разом солнце тронулось с места и, подобно летучей звезде, быстро пробежав остальную часть пути, погрузилось за небосклоном. В одно мгновение ока зрелище переменилось: свет погас, небо зардело звездами, мы очутились в глубоком мраке, и крик отчаяния раздался кругом нас в горах. Мы полагали, что уже навсегда простились с благотворным светилом; что после истребления значительной части рода человеческого та же планета, на которой мы родились, назначена быть его остаткам темницею, где мы должны ожидать скоро смертного приговора. Невозможно изобразить горести, овладевшей нами при этой ужасной мысли. Мы провели несколько часов в этом положении; но тогда как некоторые из нас уже обдумывали средства, как бы пристроить остаток своего быта в мрачном заключении на нашей несчастной планете, волны яркого света нечаянно залили наше зрение ослепительным блеском. Мы все повернулись на землю и долго не смели раскрыть глаз, опасаясь быть поражены его лучами. Наконец мы удостоверились, что он происходит от солнца, которое непонятным образом вошло с той стороны, где незадолго пред тем совершился его внезапный закат. Достигнув известной высоты, оно вдруг покатилося на юг; потом, повернувшись назад, приняло направление к северо-востоку. Не доходя до земли, оно поколебалось и пошло скользить параллельно черте горизонта, пока опять не завалилось за него недалеко от южной точки. Таким образом, в течение пятнадцати часов оно восходило четырежды, всякий раз в ином месте; и всякий раз, исчертив его кривыми линиями запутанного пути своего, заходило на другом пункте и ввергало в ночной мрак изумленные и измученные наши взоры.

Несмотря на ужас, распространенный в нас подобным ниспровержением вечного порядка мира, нельзя было не догадаться, что не солнце так странно блуждает над нами, но что земной шар, обремененный непомерно тяжестью кометы, потерял свое равновесие, выбился из прежнего центра тяготения и судорожно шатается на своей оси, ища в своей огромной массе, увеличенной чуждым телом, нового для себя центра и новой оси для суточного своего обращения. В самом деле, мы видели, что при каждом появлении солнца точка его восхождения более и более приближалась к северу, хотя закат не всегда соответствовал новому востоку и падал попеременно по правую и по левую сторону южного полюса. Наконец в пятый раз солнце засияло уже на самой точке севера и, пробежав зигзагом небесный свод в семь часов времени, закатилось почти правильно, на юге. Потом наступила долгая ночь, и после одиннадцати часов темноты день опять начал брезжить на севере. Солнце вошло, по-прежнему предшествуемое прекрасною зарею: мы приветствовали его радостным кликом, льстя себя мыслию, что теперь скоро будет конец нашим страданиям, все придет в порядок, и мы возвратимся на равнины. Один только Шимшик не мог утолить своей горести после потери прежнего востока и прежнего запада. Он говорил, что не перенесет такого безбожного переворота в астрономии и географии: двести сорок пять лет своей жизни употребил он на составление таблиц долготы и широты трех тысяч известнейших городов и местечек, а теперь, при перемене полюсов, все его

исчисления, вся его ученость, заслуги перед потомством и право на полный пенсион от современников не стоили старой тряпки!..

Я постигал печаль Шимшика, но он, окаянный, не умел оценить моей. Увы!.. Муж, от которого жена бежала с любовником во время падения кометы на Землю, во сто раз несчастнее всех астрономов. Ему скажут, что они взяли направление к востоку; он побежит за ними на восток, руководствуясь течением солнца; вдруг полюсы переменяют свое положение, и он очутится на севере, в девяносто географических градусах от своей сожительницы. Это слишком жестоко!.. Сообразив все дело, я убедился, что в настоящих отношениях Земли к Солнцу нечего мне напрасно и искать своей жены.

Вдруг погода переменилась. Воздух стал затмеваться некоторым родом прозрачного, похожего на горячий пар, тумана, и крепкий запах серы поразил наше обоняние. Мы уже приобрели было некоторую привычку к необыкновенным явлениям и сначала мало заботились об этой перемене погоды, которая, впрочем, до тех пор удивляла нас своим постоянством. Скоро солнце сделалось тускло, кроваво, огромно, как во время зимнего заката, и в верхних слоях атмосферы начало мелькать пламя синего и красного цветов, напоминающее собою пыль зажженного спирта. Через полчаса пламя так усилилось, что мы были как бы покрыты движущимся огненным сводом.

— Воздух горит! — воскликнули многие из моих соседей.

— Воздух горит!! — раздалось по всему хребту. — Мы пропали!

Основательность этого замечания не подлежала сомнению: воздух был подожжен!.. И нетрудно даже было предвидеть, какую смерть готовила нам ожесточенная природа: мы должны были сгореть живыми, дышать пламенем, видеть заживо внутренности наши сожженными, превращающимися в уголь. Какое положение!.. Какая будущность!..

Пожар атмосферы принял страшное напряжение. Вместо прежних мелких и частых клочков пламени огонь пылал на небе огромными массами, с оглушительным треском; и хотя вовсе не было облаков, дождь лился на нас крупными каплями. Но пламя удерживалось на известной высоте, отнюдь не понижаясь к земле. Дыхание сделалось трудным; все лица облеклись смертельною бледностью. У многих голова начала кружиться: они падали на землю и в ужасных корчах, сопровождаемых поносом и рвотою, испускали дух, не дождавшись конца представления. Смерть окружила нас своим волшебным жезлом. В течение нескольких часов большая половина спасшегося в горах народа сделалась ее жертвою, покрыв долины и утесы безобразными, отвратительными трупами. Те, которые выдержали первый ее приступ на последнее убежище скудных остатков нашего рода, были повержены в опьянение, не чуждое даже некоторой веселости. Я упал без чувств на камень.

Не знаю, как долго оставался я в этом положении, но, очнувшись, я почувствовал в себе признаки сильного похмелья. Мои товарищи чувствовали то же, хотя из них только немногие были свидетелями моего пробуждения. Мы страдали головною болью, тошнотою и оцепенением членов и в то же время были расположены к резвости. Поселение, которому я принадлежал, состоявшее только из пятидесяти человек мужчин, женщин и детей, в одно это происшествие лишилось тридцати двух душ; и мы тотчас пустились обнаруживать нашу новую и для нас самих непонятную склонность к шалостям, бросая с неистовым хохотом трупы усопших наших товарищей с обитаемого нами утеса в пропасть, лежащую у его подножия. Разыгравшись, мы хотели было швырнуть туда же и нашим астрономом, Шимшиком, и простили его потому только, что он обещал кувыркнуться три раза перед нами для нашей потехи. Но если б Саяна попалась мне тогда в руки, я бы с удовольствием перебросил ее чрез весь Сасахаарский хребет, так, что она очутилась бы на развалинах кометы.

Вместе с этою злобною веселостью в сердце ощущали мы еще во рту палящий, кислый вкус, очевидно, происходивший от воздуха, ибо, несмотря на все употребленные средства, никак не могли от него избавиться. Но гораздо изумительнейшее явление представлял самый воздух: во время нашего опьянения он очистился от туманного пара и от пылавшего в нем пламени, но совершенно переменял свой цвет и казался голубым, тогда как прежде природный цвет неба в хорошую погоду был светло-зеленый. Шимшик, у которого дело никогда не стало за причину, объяснил нам эту перемену тем, что, кроме плотной, каменной массы ядра, комета принесла с собою на Землю свою атмосферу, составленную из паров и газов, большею частью чуждых нашему воздуху: в том числе, вероятно, был один газ особенного рода, одаренный кислым и палящим началом; и он-то произвел этот пожар в воздухе, который от смещения с ним пережегся, окис и даже преобразовал свою наружность. Шимшик, может статься, рассуждал и правильно, хотя он много врал, бездельник!..

Как бы то ни было, мы скоро удостоверились, что наш прежний, сладкий, мягкий, благодетельный, целебный воздух уже не существует; что прилив новых летучих жидкостей совсем его испортил, превратив в состав безвкусный, вонючий, пьяный, едкий, разрушительный. И в этом убийственном воздухе назначено было отселе жить роду человеческому!.. Мы с трудом вдыхали его в наши груди и, вдохнув, с отвращением немедленно выдыхали вон. Мы чувствовали, как он жжет, грызет, съедает наши внутренности. В одни сутки все мы состарились на двадцать лет. Женщины были в таком отчаянии, что рвали на себе волосы и хлипали без умолку. Мы с Шимшиком только вздохнули при мысли, что в этом воздухе жизнь человеческая должна значительно сократиться и что людям вперед не жить в нем по пятисот и более лет[95]. Но эта мысль недолго могла огорчать нас: в два дня мы так привыкли к новому воздуху, что не примечали в нем разницы с прежним, а смерть уже стояла пред нами в новом и еще грознейшем виде.

В горах пронесся слух, что Внутреннее Море (где ныне Киргизская и Монгольская Степи[96]) выступило из своего ложа и переливается в другую землю; что оно уже наводнило все пространство между прежним своим берегом и нашими горами. Выходцы, занимавшие нижнюю полосу хребта, оставив свои поселения, двинулись толпами на наши, устроенные почти в половине его высоты, внутри самой цепи. Они принесли нам плачевное известие, что подошва его уже кругом обложена морем, вытолкнутым из пропастей своих насильственным качанием земного шара, и что мы совершенно отделены водою от всего света. Тревога, беспорядок, отчаяние сделались всеобщими: можно сказать, что с той минуты началась наша мучительная кончина. Мы расстались с надеждою.

Свирепый ветер с обильным дождем и вьюгою разметал по воздуху и пропастям непрочные наши приюты и нас самих. Десять дней сряду нельзя было ни уснуть покойно, ни развести огня, чтоб согреться и сжарить кусок мяса. Все это время держались мы обеими руками за деревья, за кусты и скалы и нередко, вместе с деревьями, кустами и скалами, были опрокидываемы в бездны. Между тем вода не переставала подниматься, волны вторгались с шумом во все углубления и ущелья, и мы взбирались на крутые стены хребта всякий день выше и выше. Верхи утесов, уступы и площадки гор были завалены народом, сбившимся в плотные кучи, подобно роям пчел, висящим кистями на древесных ветвях. Все связи родства, дружбы, любви, знакомства были забыты: чтоб проложить себе путь или очистить уголок места, те, которые находились в середине толпы, без разбора сталкивали в пропасти стоявших по краям утесов. Оружие сверкало в руках у каждого, и сопротивление слабейшего немедленно омывалось его кровию. До тех пор мы питались мясом спасенных нами животных, особенно лошадиным, верблюжьим и лофиодонтовым; но теперь и этого у нас не стало. Ежели кто-нибудь случайно сохранил малейший запас живности, другие, напав на него шайкою, похищали у несчастного последний кусок, нередко вместе с жизнью, и потом резались между собою за исторгнутую из чужих уст пищу. Разбои, убийства, насилия, мщение ежечасно целыми тысячами уменьшали количество горного народонаселения, еще не истребленного ядом повальных болезней и неистовством стихий. Казалось, будто люди

покаялись искоренить свой род собственными своими руками, предоставив всеобщей гибели природы только труд стереть с планеты следы их злобы.

Наконец начали мы пожирать друг друга
[97]

Личные мои похождения немного отличались от общего рода жизни выходцев в те дни остервенения и горя. Спасаясь с одной горы на другую, я потерял своего мамонта и разлучился с прежними товарищами. С тех пор блуждал я по разным толпам, к которым судьба меня присоединяла. Мы жили как звери, вместе терзая зубами общий кусок добычи и без предварительного знакомства считая короткими знакомцами всех, принадлежащих нашему стаду, а не принадлежащих к нему — врагами, которых следовало кусать, душить и обращать себе на пищу. Но в одном из тех стад случилось со мною странное происшествие, которое дало моему быту несколько различное направление. У меня увидели десяток прекрасных разноцветных голышей, заброшенных в наши горы каменным дождем кометы и скоро вошедших у нас в большую цену; и как я не хотел добровольно поделиться ими, то мои злосчастные ближние, удрученные несчастьем, страхом и голодом, трепещущие перед лицом неизбежного рока, чуть не разорвали меня по кускам за эти милые блестящие игрушки. Я бросил им голыши и ушел от них подальше.

Скитаясь по горам, я искал случая неприметно втереться в какую-нибудь толпу. На уступе одной горы видна была горстка народа. Она находилась в страшном замешательстве, и я поспешил пристать к ней, не обратив на себя внимания. Причиной ее тревоги было неожиданное нападение огромного тигра, который из среды ее похитил одного человека. Подобные приключения случались с нами поминутно. Львы, тигры, гиены, мегалосауры и другие колоссальные звери, вытесненные из лесов и пещер водою, поднимались на горы вместе с нами: с некоторого времени они производили в наших остатках неслыханные опустошения и уже не довольствовались нашими трупами, но искали живых людей и теплой крови. Пользуясь волнением внезапно напуганных умов, я проникнул внутрь толпы, где несколько человек, стоявших полукружием, с любопытством поглядывало на землю. На земле не было, однако, ничего особенного: женщина лежала в обмороке; подле стоял на коленях мужчина, который нежно держал ее в своих объятиях и освежал лицо ее водою. Я подошел поближе и, сложив руки назад, стал зевать на них наряду с прочими. Как?.. Возможно ли?.. Да это она!..

— Саяна!.. Саяна!.. Жена моя!! — заревел я в исступлении среди изумленных незнакомцев и, подобно голодному тигру, прыгнул издали на занимательную чету с обнаженным кинжалом в руке. Схватив за волосы нежного обнимателя, я отвалил голову его назад и вонзил в горло убийственное железо по самую рукоятку. Кровь брызнула из него ключом на коварную. Из свидетелей никто не сказал ни слова. Я, не дожидаясь объяснений, поднял Саяну на руки и помчался с нею по скату горы.

Я не сомневался, что умерщвленный мною мужчина был ее обольститель. Впоследствии оказалось противное. Настоящий друг Саяны был за несколько минут до моего прибытия похищен огромным тигром, а тот, кого принес я в жертву моей мести, не имел прежде никаких с нею сношений и только из учтивости к женщинам старался восстановить в ней чувства. Итак, я убил его понапрасну?.. Очень сожалею!.. Не обнимай чужой жены, если ты ей не любовник!

Я продолжал нести Саяну. Она раскрыла глаза, вздохнула с тяжелым стоном и опять их сомкнула, не узнав во мне законного своего обладателя. Спустя некоторое время она произнесла томным голосом чье-то незнакомое мне имя. В ответ на незнакомое имя я хотел было бросить ее в наполненную водою пропасть, по краю которой пробирался. Я уже хотел бросить, бросить со всей силы, с тяжестью вечного проклятия на шее, — и вместо того сильно прижал ее к своему сердцу... Мне суждено быть несчастным!.. Я опять был влюблен, и...

опять ревнив!

Таща на плечах по острым, почти непроходимым скалам бремя своих обманутых надежд, своей страсти и своей обиды, я изнемогал, обливался кровавым потом, напрягал последние силы. Я спешил за гору, надеясь там найти уединенное место; но у самого поворота увидел всю площадку утеса, образовавшего бок горы, покрытую бурным собранием народа. Зрелище ужасное!.. Утес почти параллельно висел над ущелием, уже потопленным водою, и опасно потрясался от всякого удара волн, разражавшихся об его основание; на утесе люди, в оглушительном шуме, дрались, резались и терзали друг друга — за что ж? — за горстку уже бесполезной для них персти! Комета при своем разрушении навалила на это место слой желтого блестящего песка, о котором упомянул я выше, неизвестного на земле до ее падения; и эти безумцы, воспылав жадностью к дорогому дару, принесенному им из других миров, может быть, на погибель всему роду человеческому, кинулись на него толпами; стали копать в нем как дети в гряде или как гиены в людских могилах; исторгали его один у другого, орошали своею кровию, скользили в крови, падали на землю и, привставая, израненные и полураздавленные, еще с восторгом приподнимали вверх пригоршни замешанного их кровию металлического песка, которые удалось им захватить под ногами других искателей. И я, уходя от людей, нечаянно очутился среди такого разъяренного алчностью и разбоем сборища!.. Я не знал, куда деваться. Опасаясь быть убитым, как посягатель на сокровища, ниспосланные им судьбою, и не видя возможности иначе пробраться через площадку на ту сторону утеса, я стал карабкаться на гору повыше площадки, с кладом своим на руках; но едва пробежал шагов двести, как вдруг зыблющийся утес с людьми и с желтым блестящим песком обрушился в ущелие. Распрыснувшиеся с шумом пучины окропили меня и всю гору пеною. Камни, покрывающие горную стену, одним разом осунулись под моими стопами; я уронил Саяну из рук и полетел вниз, катясь по жестким обломкам гранита. Испуг и боль отняли у меня чувства

Когда пришел я в себя, голова моя, вся заплесканная кровию, лежала на коленях у доброй моей Саяны. Она не оставила меня в опасности. Увидев, что, прокатясь значительное пространство, я уперся в низкую скалу на самом краю вновь образовавшегося провала, она благородно пожертвовала своим страхом для моего спасения, спустилась ко мне по крутому, оборванному скату, оттащила меня от пропасти и положила в удобнейшем месте. Я не помнил ни что со мною сделалось, ни где я нахожусь. Долго не смел я раскрыть глаз по причине жестокой боли от ушибов по всем членам; но мне грезилось, будто ощущаю на челе легкий, приятный щекот робких поцелуев. Вместе с дневным светом увидел я подле себя — внизу — неизмеримую бездну с гремящими волнами, по которым носилось множество человеческих трупов, — вверху, над моим лицом, милое лицо Саяны. Я взглянул на него без любви, с простым, холодным чувством признательности, и в то самое время две крупные слезы, канувшие с ресниц преступницы, закипели на моих щеках. В жгучем их прикосновении я узнал огонь раскаяния, который плавит сердца и очищает их от обиды. Все было забыто: я опять любил в ней свою любовницу, невесту, жену... Но как она переменялась! Как состарилась в этом новом воздухе! Тому три недели она сияла всеми прелестями юности, красоты, невинности, а теперь казалась она почти старушкою. Но нужды нет! Она все еще нравилась мне чрезвычайно.

Как скоро усмирилась первая боль и я мог приподняться, мы опять стали карабкаться на гору и, пособляя друг другу, достигли до одного возвышенного утеса, где решились провести ночь. Усталость и открытый в сердцах наших остаток прежнего счастья ниспослали нам крепительный сон, который застиг и оставил нас в объятиях друг у друга на жесткой каменной почве. На следующее утро я совершенно был уверен в добродетели Саяны, в чистоте ее намерений и даже в том, что в течение целых трех недель нашей разлуки она никого в свете, кроме меня, не любила. Я никак не думал, чтобы подобная уверенность могла когда-либо забраться в мое сердце!! Однако ж это случилось: с влюбленными мужьями, особенно во

время великих переворотов в природе, иногда случаются совсем невероятные вещи.

Но пора было подумать о нашем положении. Мы были довольны нашими чувствованиями, но голодны желудком и лишены всякого сообщения с людьми. Ночью вода поднялась так высоко, что цепь Сасахаарских гор была наконец вполне расторгнута: все огромное их здание потонуло в бурных пучинах; по хребтам средних высот уже свободно катились волны, и только вершины высших гор еще не были поглощены странствующим в чужие земли океаном: они посреди его образовали множество утесистых островов, представлявших вид обширного архипелага или вид кладбища скончавшихся государств прежнего мира. Всякая вершина сделалась особою странною, и судьба, играющая нами, ведшая нас по взволнованной земле, чрез отравленный воздух, чрез огонь, прямо в воду, как бы в насмешку над нашим политическим тщеславием вздумала еще согнанные в кучу остатки нашего племени разделить на несколько десятков независимых народов, дав каждому из них внаймы на короткие сроки по куску гранита для устройства мгновенных отечеств. Мы удобно могли видеть все, что происходило на ближайших вершинах, в новых обществах, созданных этою жестокою игрою: мы видели людей слабых и людей дерзких; людей, искусно ползущих вверх на четвереньках, и людей прямых, неловких, стремглав катящихся в бездны; людей, трудящихся вотще, людей, беззаботно пользующихся чужим трудом, людей гордых, людей злых, людей несчастных и людей, истребляющих других людей. Мы видели все это собственными глазами; и как теперь людей не стало, то можем засвидетельствовать, что они были людьми до последней минуты своего существования.

Гора, на которой находился я с Саяною, была высочайшая и самая неприступная во всем Сасахаарском хребте. Кроме птиц и нескольких заблудившихся животных, только мы вдвоем, и то случайно, остались ее жителями, когда она превратилась в остров. Одиночество не столько было нам страшно, сколько беспокоивал нас совершенный недостаток пищи. Первые мучения голода утолили мы листьями мелкого кустарника, росшего в одной трещине, и опять были довольны собою, довольны друг другом, — даже почти довольны нашею судьбою. Надежда последними своими лучами еще раз озарила наши сердца. В дарованном нам темном и пустынном уголке жизни мы с радостью увидели светлую частицу будущности, рдеющую бледным огнем древесной гнили, и при этом обманчивом свете пытались еще чертить обширные планы счастья — одного предоставленного нам счастья — умереть вместе!

Объев все листья найденного нами кустарника, мы отправились искать приюта в новом нашем отечестве и не замедлили познакомиться, по-видимому, с единственною нашею соотечественницею — гиеною. Дело само по себе было ясно: или она нас, или мы ее должны были пожрать непременно. Мой кинжал решил неравную борьбу в нашу пользу: я погрузил его в разинутую пасть гиены, когда она бросилась мне на грудь, и хищный зверь сделался нашею добычею. С каким удовольствием, после кустарных листьев, ели мы вязкое и вонючее его мясо! Мы кормились им восемь дней и находили, что, с любовью в сердце, сладка и сырая гиенина.

Отыскав почти у самой вершины горы большую, удобную пещеру, ту самую, на стенах которой черчу теперь эти иероглифы, мы избрали ее нашим жилищем. Дожди с сильным ново-южным ветром продолжались без умолку, и вода все еще поднималась, всякий день поглощая по несколько горных вершин, так что на шестое утро из всего архипелага оставалось не более пяти островов, значительно уменьшенных в своем объеме. На седьмой день ветер переменился и подул с нового севера, прежнего запада нашего. Спустя несколько часов все море покрылось бесчисленным множеством волнуемых на поверхности воды странного вида предметов, темных, продолговатых, круглых, походивших издали на короткие бревна черного дерева. Любопытство заставило нас выйти из пещеры, чтоб приглядеться к этой плавающей туче. К крайнему изумлению, в этих бревнах узнали мы нашу блистательную армию, ходившую войною на негров, и черную, нагую рать нашего врага, обе заодно поднятые на волны, вероятно, во время сражения. Море выбросило на наш берег несколько

длинных пик, бывших в употреблении у негров (Новой Земли). Я взял одну из них и притащил к себе прекрасный плоский ящик, плававший подле самой горы. Разломав его о скалу, мы нашли в нем только высокопарное слово, сочиненное накануне битвы для воспламенения храбрости воинов. Мы бросили высокопарное слово в море. Меж тем ветер подул с другой стороны, и обе армии, переменяв черту движения, понеслись на восток.

Наконец последний остров потонул в море, и мы догрызали последнюю кость гиены. Одна лишь нами обитаемая вершина еще торчала из вздутых пучин. Итак, мы вдвоем остались последними жителями стран, завоеванных океаном у человека!.. Но берег моря уже был в пятидесяти сажнях от нашей пещеры, и мы хладнокровно рассчитывали, сколько часов еще остается нам, законным наследникам прав нашего рода, господствовать над мятежной природою. Признаюсь

Стена IV

1 По правую сторону входа

. потоп наскучил мне ужасно. Сидя голодные в пещере, от нечего делать мы начали ссориться. Я доказывал Саяне, что она меня не любит и никогда не любила; она упрекала меня в ревности, недоверчивости, грубости и многих других уголовных в супружестве преступлениях. Я молил Солнце и Луну, чтоб это скорее чем-нибудь да кончилось увидели мы заглядывающую в отверстие пещеры длинную, безобразную змеиную голову, вертящуюся на весьма высокой и прямой как пень шее. Она держала в пасти человеческий труп и с любопытством смотрела на нас большими, в пядень, глазами, в которых сверкал страшный зеленый огонь. Мы вдруг перестали ссориться. Саяна спряталась в угол; я вскочил на ноги, схватил пик и приготовился к защите. Но голова скрылась за камнями, накопленными у входа в пещеру. Мы ободрились, подошли к отверстию и с ужасом открыли пробирающегося к нам огромного плезиосаура длиною по крайней мере шагов в тридцать, на четырех чрезвычайно высоких ногах, с коротким, но толстым хвостом и двумя большими кожаными крыльями, стоящими в виде двух треугольных парусов на покрытой плотную чешую спине. Грозное чудовище, без сомнения выгнанное водою из своего жилища, находившегося где-нибудь на той же горе, уронив труп из пасти, карабкалось по шатким камням с очевидным намерением завладеть нашим убежищем и нас самих принести в жертву своей лютости. Я почувствовал невозможность сопротивляться ему оружием; но тяжелые, неповоротливые его движения по съезженной набросанными скалами и почти отвесной поверхности внушили мне другое средство к отпору. При пособии Саяны я обрушил на него большой камень, лежавший весьма непрочно на пороге пещеры. Столкнутая с места глыба увлекла за собою множество других камней под ноги плезиосауру, и опрокинутый ими дракон скатился вместе с ними в море.

Мы нежно поцеловались с Саяною, поздравляя друг друга с избавлением от такой опасности, и снова были хорошими приятелями; мы даже произнесли торжественный обет никогда более не ссориться.

Освободясь от незваного гостя, мы подошли к трупу, который он у нас оставил в память своего посещения. Представьте себе наше изумление: мы узнали в этом трупе почтеннейшего Шимшика! Он, видно, погиб очень недавно, ибо тело его было еще совершенно свежо. Сказав несколько сострадательных слов об его кончике, мы решились — голод рвал наши внутренности — мы решились его съесть. Я взял астронома за ногу и втащил его в пещеру.

Этот человек нарочно был создан для моего несчастья!.. Едва приступил я к осмотру худой его туши, как вдруг мы вспомнили о приключении под кроватью, где он, наблюдая затмение, расстроил первые порывы нашего счастья, и опять рассорились. Саяна воспользовалась этим предлогом, чтоб поразить меня упреками. Ей нужен был только предлог, ибо она уже

скачала со мною. Одиночество всегда было для нее убийственно, и потоп казался бы ей очень-очень милым, очень веселым, если б могла она утонуть в хорошем обществе, в блистательном кругу угодников ее пола, которые вежливо подали б ей руку в желтой перчатке, чтоб ловче соскочить в бездну. Я проникал насквозь ее мысли и желания и наказывал ей кучу жестких истин, от которых она упала в обморок. Какой характер!.. Мучить меня капризами даже во время потопа!.. Как будто не довольно перенес я от предпотопных капризов!.. А всему этому причиною этот проклятый Шимшик, который и по смерти не дает мне покоя!.. С досады, с гнева, бешенства, отчаяния я схватил крошечного астронома за ноги и швырнул им в море. Пропади ты, несчастный педант!.. Лучше умереть с голоду, чем портить себе желудок худою школярщиною, просяккою чернильными спорами.

Я пытался однако ж доставить моей подруге облегчение, но она отринула все мои услуги. Пришед в себя, она плакала и не говорила со мною. Я поклялся вперед не мешать ее горести. Мы поворотились друг к другу спиною и так провели двое суток. Приятный образ провозждения времени в виду довершающегося потопа!.. Между тем голод повергал меня в исступление: я кусал самого себя.

— Саяна!.. — вскричал я, срываясь с камня, на котором сидел, погруженный в печальной думе. — Саяна!.. Посмотри! вода уже потопила вход в пещеру.

Она оборотилась к отверстию и смотрела бесчувственными, окаменелыми глазами.

— Видишь ли эту воду, Саяна?.. — примолвил я, протягивая к ней руку. — То наш гроб!..

Она все еще смотрела страшно, неподвижно, молча и как будто ничего не видя.

— Ты не отвечаешь, Саяна?..

Она закричала сумасшедшим голосом, бросилась в мои объятия и сильно, сильно прижала меня к своей груди. Это судорожное пожатие продолжалось несколько минут и ослабело одним разом. Голова ее упала взничь на мою руку; я с умилением погрузил взор свой в ее глаза и долго не сводил его с них. Я видел внутри ее томные движения некогда пылкой страсти самолюбия; видел сквозь сухое стекло глаз несчастной, как в душе ее, подобно волшебным теням на полотне, проходили туманные образы всех по порядку прежних ее обожателей. Вдруг мне показалось, будто в том числе промелькнул и мой образ. Слезы прыснули у меня дождем: несколько из них упало на ее уста, и она с жадностью проглотила их, чтоб утолить свой голод. Бедная Саяна!.. Я спаял мои уста с ее устами искренним, сердечным поцелуем и несколько времени оставался без памяти в этом положении. Когда я их отторгнул, она была уже холодна, как мрамор... Она уже не существовала!

Я рыдал целый день над ее трупом. Несчастливая Саяна!.. Кто препятствовал тебе умереть счастливою на лоне истинной любви?.. Ты не знала этой нежной, роскошной страсти!.. Нет, ты ее не знала, и родилась женщиною только из тщеславия!..

Я, однако же, и тогда еще обожал ее, как в то время, когда произносили мы первую клятву любить друг друга до гробовой доски. Я осыпал тело ее страстными поцелуями... Вдруг почувствовал я в себе жгучий припадок голода и в остервенении запустил алчные зубы в белое, мягкое тело, которое осыпал поцелуями... Но я опомнился и с ужасом отскочил к стене

2 По левую сторону входа

Вода остановилась на одной точке и выше не поднимается. Я съел кокетку!

15 числа шестой луны. Вода значительно упала. Несколько горных вершин опять появилось из моря в виде островков

19 числа. Море, при ново-северном ветре, вчера покрылось частыми льдинами

26 числа. Сегодня окончил я вырезывать кинжалом на стенах этой пещеры историю моих походов.

28 числа. Кругом образуются ледяные горы

30 числа. Стужа усиливается

Постскрипт. Я мерзну, умира...» _____

Этими словами прекращается длинная иероглифическая надпись знаменитой пещеры, именуемой Писанною Комнатою, и мы тем кончили наш перевод. Мы трудились над ним шесть дней с утра до вечера, израсходовали пуд свечей и две дести бумаги[98], выкурили и вынюхали пропасть табаку, измучились, устали, чуть не захворали; но наконец кончили. Я соскочил с лесов, доктор встал из-за столика, и мы сошлись на середине пещеры. Он держал в руках два окаменелые человеческие ребра и звонил в них в знак радости, говоря:

— Знаете ли, барон, что мы совершили великий, удивительный подвиг? Мы теперь бессмертны и можем умереть хоть сегодня. Вот и кости предпотопной четы... Эта кость женина: в том нет ни малейшего сомнения. Посмотрите, как она звонка, когда ударишь в нее мужниною костью!..

Почтенный Шпурцманн был в беспредельном восхищении от костей, от пещеры, от надписи и ее перевода. Я одушевлялся тем же чувством, соображая вообще необыкновенную важность открытий, которые судьба позволила нам сделать в самой отдаленной и весьма редко приступной стране Севера; но не совсем был доволен слогом перевода. Я намекнул о необходимости исправить его общими силами в Якутске по правилам риторики профессора Толмачева[99] и подсыпать в него несколько пудов предпотопных местоимений сей и оный, без которых у нас нет ни счастья, ни крючка, ни изящной прозы.

— Сохрани бог! — воскликнул доктор, — не надобно переменять ни одной буквы. Это слог настоящий иероглифический, подлинно египетский.

— По крайней мере, позвольте прибавить десяток ископаемых, окаменелых прилагательных вышеупомянутый, реченный и так далее: они удивительно облагораживают рассказ и делают его достойным уст думного дьяка.

Шпурцманн и на то не согласился. Я принужден был дать ему слово, что без его ведома не коснусь пером ни одной строки этого перевода.

— Но что вы думаете о самом содержании надписи? — спросил я.

— Я думаю, — отвечал он важно, — что оно драгоценно для науки, для всего просвещенного света. Оно объясняет и доказывает множество любопытных и поныне не решенных вопросов. Во-первых, имеете вы в нем верное, ясное, подлинное, доселе единственное наставление о том, что происходит в потоп, как должно производить его и чего избегать в подобном случае. Теперь мы с вами знаем, что нет ничего опаснее...

— Как жениться перед самым потопом! — подхватил я.

— Нет! — сказал доктор. — Как быть влюбленным в предпотопную, или ископаемую, жену, уxor fossilis, seu antediluviana. Это удивительный род женщин!.. Какие неслыханные кокетки!.. Признаюсь вам, что по возвращении в Германию я имел намерение жениться на одной молодой, прекрасной девице, которую давно люблю; но теперь — сохрани, господи! — и думать о том не стану.

— Чего же вы боитесь? — возразил я. — Нынешние жены совсем непохожи на предпотопных.

— Как чего я боюсь?.. — вскричал он. — А если, женившись, я буду влюблен в свою жену, и вдруг комета упадет на землю и произойдет потоп?.. Ведь тогда моя жена, как бы она добродетельна ни была, по необходимости сделается предпотопною?

— Правда! — сказал я улыбаясь. Моя проницательность не простиралась так далеко, и я вовсе не предусматривал подобного случая.

— А, любезный барон!.. — промолвил мой товарищ. — Ученый человек, то есть ученый муж, должен все предусматривать и всего бояться. Зная зоологию и сравнительную анатомию, я в полной мере постигаю несчастное положение сочинителя этой надписи. Известно, что до потопы все, что существовало на свете, было вдвое, втрое, вдесятеро огромнее нынешнего; на земле водились животные, именно мегатерионы, которых одно ребро было толще и длиннее мачты, что на нашем судне. Возьмите же мегатерионово ребро за основание и представьте себе все прочее в природе по этой пропорции: тогда увидите, какие страшные, колоссальные, исполинские должны были быть предпотопные капризы и предпотопные неверности и... и... и все предпотопное. Но возвратимся к надписи. Во-вторых, эта надпись подтверждает вполне и самым блистательным образом все ныне принятые теории о великих переворотах земного шара. В-третьих, она ясно доказывает, что египетская образованность есть самая древнейшая в мире и некогда распространялась по всей почти земле, в особенности же процветала в Сибири; что многие науки, как то: астрономия, химия, физика и так далее — уже тогда, то есть до потопы, находились в здешних странах на степени совершенства; что предпотопные, или ископаемые, люди были очень умны и учены, но большие плуты, и прочее, и прочее. Все это удивительно как объясняется содержанием этой надписи. Но я не утаю от вас, барон, одного сомнения, которое...

— Какого сомнения? — спросил я с беспокойством, полагая, что он сомневается в основательности моих иероглифических познаний.

— Того, что это не есть описание всеобщего потопы?

— О! в этом я совершенно согласен с вами.

— Это, по моему мнению, только история одного из частных потопы, которых, как известно, было несколько в разных частях света.

— И я так думаю.

— Словом, это история сибирского домашнего потопы.

— И я так думаю.

— За всем тем, это необыкновенная история!..

— И я так думаю.

Мы приказали промышленникам тотчас убирать леса и кости и готовиться к немедленному отплытию в море, ибо у нас все уже было объяснено, решено и кончено.

Чтоб не оставить Медвежьего Острова без приятного в будущем времени воспоминания, я велел еще принести в пещеру две последние бутылки шампанского, купленного мною в Якутске, и мы распили их вдвоем в Писанной Комнате.

Первый тост был единогласно условлен нами в честь ученых путешествий, которым род человеческий обязан столь многими полезными открытиями. За тем пошли другие.

— Теперь выпьем за здоровье ученой, доброй и трудолюбивой Германии, — сказал я моему товарищу, наливая вторую рюмку.

— Ну, а теперь за здоровье великой, могущественной, гостеприимной России, — сказал мне вежливый товарищ, опять прибегая к бутылке.

— Да здравствуют потопы! — воскликнул я.

— Да здравствуют иероглифы! — воскликнул доктор.

— Да процветают сравнительная анатомия и все умные теории! — вскричал я.

— Да процветают все ученые исследователи, Медвежий Остров и белые медведи! — вскричал доктор.

— Многая лета мегалосаурам, мегалониксам, мегалотерионам, всем мегало-скотам и мегало-животным!! — возопил я при осьмой рюмке.

— Всем рыжим мамонтам, мастодонтам, переводчикам и египтологам многая лета!! — возопил полупьяный натуралист при девятой.

— Виват, Шабахубосаар!!! — заревели мы оба вместе.

— Виват, прекрасная Саяна!!!

— Ура, предпотопные кокетки!!!

— Ура, Шимшик!.. Ископаемый философии доктор, ура!.. ура!!!

Мы поставили порожние бутылки и рюмки посреди пещеры и отправились на берег. Я сполз с горы кое-как, без чужой помощи; Шпурцманна промышленники принесли вместе с шестами. Ученое путешествие совершилось по всем правилам.

Мы горели нетерпением как можно скорее прибыть в Европу с нашею надписью, чтоб наслаждаться изумлением ученого света и читать выпренные похвалы нам во всех журналах; но, по несчастью, сильный противный ветер препятствовал выйти из бухты, и мы пробыли в ней еще трое суток, скучая смертельно без дела и без шампанского. На четвертое утро увидели мы судно, плывущее к нам по направлению от Малого Острова.

— Не Иван ли Антонович это? — воскликнули мы оба в один голос. — Уж, наверное, он! Какой он любезный!..

— Вот было бы приятно повидаться с ним в этом месте, на поприще наших бессмертных открытий. Не правда ли, доктор?

— Jawohl![100] мы могли бы сообщить ему много полезных для него сведений.

Около полудня судно вошло в бухту. В самом деле это был он — Иван Антонович Страбинских с своею пробирною иглою. Как хозяйева острова в отсутствии белых медведей, мы встретили его завтраком на берегу. Выпив две предварительных рюмки водки и закусив хлебом, обмакнутым в самом источнике соли — солонке, он спросил нас, довольны ли мы

нашею экспедицией на Медвежий Остров?

— О! как нельзя более! — воскликнул мой товарищ, Шпурцманн. — Мы собрали обильную жатву самых новых и важных для наук фактов. А вы, Иван Антонович, что хорошего сделали в устье Лены?

— Я исполнил мое поручение, — отвечал он скромно, — и надеюсь, что мое благосклонное начальство уважит мои труды. Я обозрел почти всю страну и нашел следы золотого песку...

— Я знал еще до прибытия вашего сюда, что вы нашли там золотоносный песок, — сказал доктор с торжественною улыбкою.

— Как же вы могли знать это? — спросил Иван Антонович.

— Уж это мне известно! — примолвил доктор. — Поищите-ка хорошенько, и вы найдете там еще алмазы, яхонты, изумруды и многие другие диковинки. Я не только знаю, что там есть эти камни и золотой песок, но даже могу сказать вам с достоверностью, кто их положил туда и в котором году.

— Ради бога, скажите мне это! — вскричал Иван Антонович с крайним любопытством. — Я сию минуту пошлю рапорт о том по команде.

— Извольте! Их навалила туда комета при своем обрушении, — важно объявил мой приятель.

— Комета-с?.. — возразил изумленный оберберг-пробирмейстер 7-го класса. — Какая комета?

— Да, да! комета! — подтвердил он. — Комета, упавшая на землю с своим ядром и атмосферой в 11879 году, в 17-й день пятой луны, в пятом часу пополудни.

— В 11879 году, извольте вы говорить?.. — примолвил чиновник, выпучив огромные глаза. — Какой это эры? сиречь, по какому летосчислению?

— Это было еще до потопа, — сказал равнодушно доктор, — эры барабинской.

— Эры барабинской! — повторил Иван Антонович в совершенном смятении от такого града ученых фактов. — Да!.. Знаю!.. Это у нас в Сибири называется Барабинскою Степью.

Мы захохотали. Торжествующий немецкий Gelehrter[101], сжался над невежеством почтенного сибиряка, объяснил ему с благосклонною учтивостью, что нынешняя Барабинская Степь, в которой живут буряты и тунгузы, есть, по всей вероятности, только остаток славной, богатой, просвещенной предпотопной империи, называвшейся Барабию, где люди ездили на мамонтах и мастодонтах, кушали котлеты из аноплотерионов, сосиски из антракотерионов, жаркое из лофиодонтов, с солеными бананами вместо огурцов, и жили по пятисот лет и более. Иван Антонович не мог отвечать на то ни слова и выпил еще раз водки.

— Знаете ли, любезный Иван Антонович, — присовокупил Шпурцманн, лукаво посматривая на меня, — что некогда в якутской области по всем канцеляриям писали египетскими иероглифами так же ловко и бойко, как теперь гражданскою грамотою? Вы ничего о том не слыхали?..

— Не случилось! — сказал чиновник.

— А мы нашли египетские иероглифы даже на этом острове, — продолжал он. — Все стены Писанной Комнаты покрыты ими сверху донизу. Вы не верите?..

— Верю.

— Не угодно ли вам пойти с нами в пещеру полюбоваться на наши прекрасные открытия?

— С удовольствием.

— Вы, верно, никогда не видали египетских иероглифов!..

— Как-то не приводилось их видеть.

— Ну так теперь придется, и вы удостоверитесь собственными глазами в их существовании в северных странах Сибири.

Мы встали и начали собираться в поход.

— Иван Антонович! — воскликнули мы еще оба в одно слово, подтрунивая над его недоверчивостью. — Не забудьте, ради бога, вашего оселка и пробирной иглы!..

— Они у меня всегда с собою, в кармане, — примолвил он спокойно.

Мы пошли.

Прибыв в пещеру, мы вдвоем остановились на середине ее и пустили его одного осматривать стены. Он обошел всю комнату, придвинул нос к каждой стене, привздернул голову вверх и обозрел со вниманием свод и опять принялся за стены. Мы читали в его лице изумление, соединенное с какою-то минералогическою радостью, и толкали друг друга, с коварным удовольствием наслаждаясь его впечатлениями. Он поправил свечу в фонаре и еще раз обошел кругом комнаты. Мы все молчали.

— Да!.. Это очень любопытно!.. — воскликнул наконец почтенный обербергпробирмейстер, колупая пальцем в стене. — Но где же иероглифы?..

— Как где иероглифы?.. — возразили мы с доктором. — Неужели вы их не видите?.. Вот они!.. Вот!.. И вот!.. Все стены исчерчены ими.

— Будто это иероглифы!! — сказал протяжным голосом удивленный Иван Антонович. — Это кристаллизация сталагмита[102], называемого у нас, по минералогии, «глифическим», или «живописным».

— Что?.. Как?.. Сталагмита?.. — вскричали мы с жаром. — Это невозможно!..

— Могу вас уверить, — примолвил он хладнокровно, — что это сталагмит, и сталагмит очень редкий. Он находится только в странах, приближенных к полюсу, и первоначально был открыт в одной пещере на острове Гренландии. Потом нашли его в пещерах Калифорнии. Действием сильного холода, обыкновенно сопровождающего его кристаллизацию, он рисуется по стенам пещер разными странными узорами, являющими подобие крестов, треугольников, полукружий, шаров, линий, звезд, зигзагов и других фантастических фигур, в числе которых, при небольшом пособии воображения, можно даже отличить довольно естественные представления многих предметов домашней утвари, цветов, растений, птиц и животных. В этом состоянии, по словам Гайленда, он действительно напоминает собою египетские иероглифы и потому именно получил от минералогов прозвание «глифического», или «живописного». В Гренландии долго почитали его за рунические надписи, а в Калифорнии туземцы и теперь уверены, что в узорах этого минерала заключаются таинственные заветы их богов. Гилль[103], путешествовавший в Северной Америке, срисовал целую стену одной пещеры, покрытой узорчатою кристаллизациею сталагмита, чтоб дать читателям понятие об этой удивительной игре природы. Я покажу вам его сочинение, и вы сами убедитесь, что это не что иное, как сталагмит, особенный род капельника, замеченного

путешественниками в известной пещере острова Пароса и в египетских гротах Самун. Кристаллизация полярных снегов представляет еще удивительнейшее явление в рассуждении разнообразности фигур и непостижимого искусства их рисунка...

Мы были разражены в прах этим нечаянным извержением каменной учености горного чиновника. Мой приятель Шпурцманн слушал его в настоящем остолбенении; и когда Иван Антонович кончил свою жестокую диссертацию, он только произнес длинное в поларшина: Ja!!![104] Я стал насвистывать мою любимую арию:

Чем тебя я огорчила?.. [105]

Обербергпробирмейстер 7-го класса немедленно вынул из кармана свои инструменты и начал ломать наши иероглифы, говоря, что ему очень приятно найти здесь этот негодный, изменнический, бессовестный минерал, ибо у нас, в России, даже в Петербурге, доселе не было никаких образцов сталагмита живописного, за присылку которых он, несомненно, получит по команде лестную благодарность. Во время этой работы мы с доктором философии Шпурцманном, оба разочарованные очень неприятным образом, стояли в двух противоположных концах пещеры и страшно смотрели в глаза друг другу, не смея взаимно сблизиться, чтобы в первом порыве гнева, негодования, досады по неосторожности не проглотить один другого.

— Барон?.. — сказал он.

— Что такое?.. — сказал я.

— Как же вы переводили эти иероглифы?

— Я переводил их по Шампольону: всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, или ни фигура, ни буква, а простое украшение почерка. Ежели смысл не выходит по буквам, то...

— И слушать не хочу такой теории чтения!.. — воскликнул натуралист. — Это насмешка над здравым смыслом. Вы меня обманули!

— Милостивый государь! не говорите мне этого. Напротив, вы меня обманули. Кто из нас первый сказал, что это иероглифы?.. Кто сострепал теорию для объяснения того, каким образом египетские иероглифы зашли на Медвежий Остров?.. По милости вашей, я даром просидел шесть дней на лесах, потерял время и труд, перевел с таким тщанием то, что не стоило даже внимания...

— Я сказал, что это иероглифы потому, что вы вскружили мне голову своим Шампольоном, — возразил доктор.

— А я увидел в них полную историю потопа потому, что вы вскружили мне голову своими теориями о великих переворотах земного шара, — возразил я.

— Но желал бы я знать, — примолвил он, — каким образом вывели вы смысл, переводя простую игру природы!

На что, естественным образом, отвечал я доктору:

— Не моя же вина, ежели природа играет так, что из ее глупых шуток выходит, по грамматике Шампольона, очень порядочный смысл!

— Так и быть! — воскликнул доктор. — Но я скажу вам откровенно, что, когда вы диктовали мне свой перевод, я не верил вам ни одного слова. Я тотчас приметил, что в вашей сказке кроется пропасть невероятностей, несообразностей...

— Однако ж вы восхищались ими, пока они подтверждали вашу теорию, — подхватил я.

— Я?.. — вскричал доктор. — Отнюдь нет!

— А кто прибавил к тексту моего перевода разные пояснения и выноски?.. — спросил я гневно. — Вы, милостивый государь мой, даже хотели предложить гофрата Шимшика в ископаемые почетные члены Геттингенского университета.

— Барон!.. не угодно ли табачку!

— Я табаку не нюхаю.

— По крайней мере, отдайте мне ваш перевод: он писан весь моею рукою.

— Не отдам. Я его напечатаю, и с вашими примечаниями.

— Фуй, барон!.. — сказал Шпурцманн с неподражаемой важностью. — Подобного рода шутки не водятся между такими известными, как мы, учеными.

На другой день мы оставили Медвежий Остров и возвратились в устье Лены, а оттуда в Якутск. Плавание наше было самое несчастливое: мы претерпели сильную бурю и все время бились с льдинами, покрывавшими море и Лену. Я отморозил себе нос.

Отделавшись от Шпурцманна, я поклялся не предпринимать более ученых путешествий.

IV

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГОРУ ЭТНУ

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был шпанский король Барон Брамбеус...

«История о храбром рыцаре Францыле Венецияне и о прекрасной его супруге королеве Ренцывене» [106]

С тех пор, как прибыл в Италию, я не видал ничего несноснее!.. Но полно рассуждать об антиквариях.

Итак, я приехал в Катану[107]: то было в половине мая (1829). Я был очень рассеян и сам не знал наверное, зачем туда приехал. Надобно было справиться с моим дневником. Хорошо, что я исправно вел свои дневные записки: не то, в таком вихре приятных ощущений, забудешь о лучших своих намерениях. Я стал рассматривать записки моего путешествия по Италии.

«Венеция!.. Милан!..»

Это я знаю: Австрия в итальянском переводе.

«Парма. Я приехал сюда 15 октября и в тот же вечер влюбился в дочь моего трактирщика. Она прелестна, ловка, умна, чувствительна, добродетельнейшая из трактирщиц, и проч., и проч...»

Это старые дела. Я тогда ехал прямо из Якутска и еще не знал женского сердца. Посмотрим, что далее.

«Флоренция. Я обзрел все церкви и гульбища. Какое множество прекрасных женщин! Какие глаза!.. Я влюблен в половину города...»

Нет, и это слишком старо. Вот нечто новое.

«19 декабря. Я начинаю короче узнавать Италию. 5 получил записку на розовой бумаге от моей прелестной Болоньезки: путешествие мое становится весьма занимательным...»

«20 декабря. Я счастлив!.. и проч.»

«21 декабря. Я ранен кинжалом в бок, и проч....»

«26 декабря. Я видел папу, и проч. ...»

«1 января. Я смеялся, как потомки Брута и Катона надували нашего графа ***ова поддельными антиками[108], и проч. ...»

«3 февраля. Я обожаю бесподобную синьору Челлини, и проч. ...»

«25 февраля. Я сам купил чудесную голову Нерона, и проч. ...»

«2 марта. Я женился, в двух станциях от Неаполя, на божественной синьоре Патапуччи...»

Черт побери!.. Русские всегда женятся, не доехав до последней станции. Как же это случилось, — спросил я самого себя, — что я забыл о своей женитьбе?.. Оно, однако ж, должно быть так, что я женился: я вел свои путевые записки с чрезвычайно аккуратностью!.. Только синьора Патапуччи названа здесь божественною?.. Это никак описка. Или она в то время казалась мне такою?.. В южных климатах глаза так часто бывают подвержены оптическим обманам!.. Ну, теперь знаю, зачем я приехал в Катану. Мне было очень жарко в Неаполе и в моем супружестве: я задыхался от зноя и от домашнего счастья и желал прохладиться на Этне. В южной Италии нет другого прохладного места, кроме этой огнедышащей горы: спросите у кого вам угодно!

Я немедленно вспомнил об всех моих действиях и планах. Моя жена, синьора баронесса Брамбеус, осталась в Мессине[109], где род жизни и общество весьма ей понравились, а я продолжал путешествие в окрестностях горы Этны. На пути я встретил такое множество нежных, очаровательных, огненных глаз, что растерял свои мысли и забыл даже о жене и об Этне. По-настоящему, не следовало бы позволять огненным глазам жить подле дороги, по которой проезжают женатые люди. Это большое злоупотребление, и беспорядок этого рода особенно примечателен в Сицилии. У нас он не существует.

Я не принуждал моей баронессы сопутствовать мне на Этну: гора такая высокая!.. а она такая упрямая!.. и такая ревнивая!.. Как я уже приобрел некоторую опытность, то вижу, что кто хочет путешествовать с пользой для своего ума и сердца, тот не должен ни связываться с немецкими учеными, ни брать с собою жену. Для ума я странствовал со Шпурцманном по Сибири, среди великолепнейшей в свете природы и достопримечательнейших костей в

природе, и мы только наделали глупостей. Я был с женою в Неаполе, где столько находится предметов для всякого рода сердечных упражнений, и она, в бешенстве, дважды уколола меня булавкою до крови за то, что я восхищался прекрасным. То ли дело блуждать одному по роскошной Сицилии, у подошвы страшного волкана, среди живописных видов и смазливых сицильянок!.. Я здесь не отрываю мамонтовых клыков, ни мегатерионовых челюстей в четырнадцать аршин длиною, не наблюдаю верхом на хромой лошади любопытных нравов бурят и тунгузов; но зато еду в коляске по лаве, мчусь по плодородной почве, переложеной изящными скелетами прекраснейших женщин в мире, и обмениваюсь улыбками с розовыми ротиками, сладко скалящими жемчужные зубки, стоя на холодном прахе своих, некогда столь же пламенных и столь же розовых, прабабушек. Какой неисчерпаемый предмет размышлений!.. Вот где можно образовать свое сердце и потом возратить его жене доведенным до совершенства.

И как теперь никто мне не мешает, никто не сбивает меня с толку теориями великих переворотов земного шара и не колет в бок булавкою за приветствия пригожим его обитательницам, то я опишу вам огнедышащую гору Этну, на которую восходил с одним шведом; но опишу с условием, что вы прочтаете меня до конца, хотя бы вам было и очень скучно, что будете крепко держать книгу, чтоб не проглотить ее, зевая, что будете спать и читать, храпеть и читать со вниманием. Это необходимо для успехов нашей словесности и для поощрения хороших писателей.

Я повстречался с моим северным приятелем, шведом, в Катане. Граф Б***, финляндский уроженец, был знаком мне еще по Петербургу, где, помнится, однажды обыграл я его в карты. Одним словом, мы были с ним старые, испытанные друзья. Он ехал на Этну, чтоб немножко разогреть свое воображение; я — чтоб прохладить мое сердце: мы очевидно стремились к одной и той же цели и потому условились отправиться туда вместе. Граф путешествовал с какою-то премиленькою синьорою, которая не знала другого языка, кроме итальянского, и которую, однако ж, называл он своею сестрою. Это могло быть правда: финны обыкновенно бывают в близком родстве с итальянцам»

Мы наняли лошаков и 20 мая пустились в путь по дороге в Николози. Этна уподобляется колоссальному шатру, раскинутому на всей почти поверхности острова, и окончивается высоким конусом, из которого восстают два острые рога, образующие две его вершины. Между этими рогами лежит пасть волкана, круглый глубокий бассейн, похожий на огромную яму, на дне которой находятся жерла, испускающие вечный дым и пламя. По несчастию, во время нашего посещения все жерла оставались в бездействии, и жители Катаны уже несколько недель сряду не примечали ни малейшего следа дыму, что у них почитается признаком скорого и сильного извержения. Мы очень сожалели, что не увидим, каким образом дым струится внутри пасти.

Этна, как известно, принадлежит к числу высочайших гор в Европе, имея прямой высоты над поверхностью моря около трех верст или 1500 сажен. Она разделяется на четыре полосы: плодородную, лесистую, бесплодную и огненную, или конус, составленный из пепла и скорий [110]. Но и это все известно. Плодородная почва, на которой рождаются апельсины, лимоны, виноград, винные ягоды и пламенные сердца, начинается в Катане: мы проехали ее в три часа, и около полудня прибыли в грязный, но живописный городок Николози, лежащий уже на ее рубеже.

Мой товарищ сделал в плодородной полосе пропасть любопытных наблюдений; я не заметил в ней ничего особенного, кроме прелестной ножки у нашей сопутницы. Ножка поистине была достойна примечания.

В Николози мы взяли в проводники известного Антонио, одного из опытнейших путеводителей на Этну. Граф Б***, запасшийся в Катане рекомендательным письмом к дону Джемелларо, немедленно отправился к знаменитому натуралисту. Он всячески хотел

утащить меня с собою, но я произнес клятву в Якутске никогда более не иметь дела с натуралистами и предпочел остаться в трактире с мнимой его сестрицею. Тогда как он рассуждал о жерле Этны с итальянским любителем природы, мы с синьорою рассуждали о женском сердце. Разговор коснулся различных родов любви, употребительных в сем свете: я заметил, что она обладает обширными познаниями!

Не многого мне стоило искусно осведомиться обо всем, касающемся до моей ученой и прекрасной собеседницы. Она была родом генуэзка, даже очень хорошей фамилии, и оставила мужа, чтоб иметь удовольствие путешествовать с моим белокурым приятелем. Итак, финны, — подумал я себе, — уже предпринимают сентиментальные путешествия на огнедышащие горы!.. Постой же, любезный! Финляндия навсегда соединена с Россиею тесными, неразрывными узами: все наши дела и чувства должны быть общи. Сердце, покоренное чухонским оружием, в известной части принадлежит и мне, как единственному представителю России на плодородной полосе волкана.

— Граф уверяет меня, — сказала Джульетта, улыбаясь, — что Финляндия по своей красоте может быть названа второю Италиею!..

— Без сомнения! — воскликнул я серьезно. — Это настоящая ледовитая Италия. Там даже есть своя Этна, гораздо величественнее здешней, с огромным жерлом в виде кренделя, которое вместо огня и дыму извергает вечный столб снега.

Сеньора ужаснулась.

— Но вы, по крайней мере, согласитесь, — примолвила она, — что шведский язык очень мил и приятен для слуха?..

— И вы, сударыня, верите, — отвечал я с жаром, — что на свете есть шведский язык?.. Шведы чрезвычайно самолюбивы, боятся, чтобы в Европе не называли их чухонцами, и всеми мерами стараются дать уразуметь другим народам, будто они совсем другого происхождения и даже имеют особый язык. Но я, долго живя в Петербурге, убедился, что так называемый шведский язык есть только мистификация. В присутствии иностранца шведы нарочно произносят нараспев разные произвольные звуки, сопровождая их жестами, чтоб заставить его подумать, что они разговаривают между собою на своем отечественном языке, и признать, что их язык очень сладок и благозвучен; но, полепетав таким образом несколько времени, они принуждены удалиться от вас к окошку и там объяснить по-чухонски, что такое хотели сказать друг другу.

Синьора Джульетта вскричала, что она никогда не думала, чтобы шведы были такие обманщики, и что после этого итальянки не должны верить им ни в одном слове. Я подтвердил справедливость ее заключения, наблюдая с удовольствием, как белокурый образ моего приятеля теснился в ее сердце, чтоб очистить уголок места для дорогого гостя. Мы долго смеялись и шутили. В заключении она объявила мне с улыбкою, что по соображении всех обстоятельств Финляндия — край скучный и несносный, и что в России должно быть гораздо теплее и веселее.

Граф Б*** возвратился. Синьора надулась.

Все путешествия на Этну, ученые и сентиментальные, совершаются ночью. Итак, мы оставили Николози по закате солнца, взяв с собою десять пар новых башмаков и тридцать бутылок старого вина. Проехав небольшое пространство, заросшее кактусом и можжевельником, мы вступили в лес, состоящий из дубов, платанов и каштановых деревьев непомерной высоты и толщины. Многие из них, без сомнения, современны рождению самой Этны. Почва, на которой они гордо прозябают, презирая бушующие над ними огненные бури, прорыта глубокими и опасными оврагами по всем направлениям; слетевшие сверху потоки пламенеющей лавы вылились на ней в разные веки из расплавленного камня множество

странных, черных, искривленных, уродливых скал и утесов или внезапно застыли сами среди сожженных и опрокинутых деревьев, удержав навсегда вид грозных, неподвижных волн. Луна, неразлучный карманный фонарь всех странников, издающих в свет описание путешествия своего на Этну, освещала бледным погребальным блеском эту таинственную картину вечной жизни и вечного разрушения, и мы, дремля на мулах, томно пробирающихся по краям пропастей, не раз со страхом считали себя окруженными толпою лютых чудовищ, готовых пожрать нас с бутылками и башмаками на половине пути до конуса. Синьора Джюльетта на всяком шагу примечала где-нибудь в лесу то черта, то дракона и, пронзительно вскрикивая от испуга, прислонялась к моему плечу — что весьма не нравилось общему нашему приятелю, шведу, который, как лютеранин, не верил ни в драконов, ни в чертей, ни в постоянство женского сердца.

В одиннадцать часов ночи достигли мы первого роздыха у так называемой Козьей пещеры, Grotta di capri. Сошед с мулов, мы уселись рядком на разостланных плащах под сению величественного платана; но как скоро развели огонь в пещере, граф Б***, который уже дрожал от холода, тотчас проник в низкое ее отверстие, приглашая Джюльетту и меня последовать его примеру. Нам очень хорошо было под деревом. Я сказал, что с некоторого времени терпеть не могу пещер и прошу его наперед осмотреть все стены и удостовериться, нет ли там иероглифов или сталагмитов, которых боюсь пуще смерти. Не понимая моей ненависти к священным письменам Египта, швед острился над моими причудами и звал к себе Джюльетту; но милая генуэзка отвечала ему с простодушием, способным обмануть всю Швецию и Норвегию, что она тоже страх боится иероглифов, которые, как слышно, водятся во множестве по здешним пещерам и укушение которых бывает весьма опасно, Я захохотал, — эти итальянки такие невежды!.. они знают одну только науку, любовь; а мой товарищ сморщил чело, как поток охолоделой лавы, и начал шевелиться в пещере. Он, по-видимому, нашел эту отговорку весьма подозрительною, ибо немедленно вылез из пещеры и сел между мною и Джюльеттою, чтобы своим ледовитым присутствием разграничить симпатическое наше отвращение к иероглифам. Я слышал, как Джюльетта горестно вздохнула по ту сторону финляндских снегов, и в ответ перекинул ей через шляпу нашего угрюмого соседа своей скомканный шариком вздох.

Мы недолго пробыли в этом месте. Поднимаясь выше и выше по крутой тропинке, мы скоро ощутили пронзительный холод бесплодной полосы волкана и не раз принуждены были прибегать к защите бутылки. Граф Б*** погонял пинками лошака Джюльетты, чтоб заставить его следовать непосредственно за Антонию, а меня старался задом своего мула отбросить в тыл избранной им оборонительной позиции у хвоста скотины своей подруги; но упрямые животные беспрестанно ломали его стратегическую линию, и не знаю, каким образом мой мул поминутно обтирался о мула нашей спутницы. Это весьма затрудняло поход. Швед бесился, Джюльетта смеялась, я сваливал всю вину на глупость итальянских скотов, а наш путеводитель Антонио усердно увещевал нас держаться одного и того же порядка шествия, если не желаем где-нибудь очутиться в пропасти.

В два часа пополночи, утомленные и проникнутые холодом, остановились мы в известном английском домике, Casa Inglese, где поужинали и несколько уснули. Выступив на заре в дальнейший путь, после небольшого, но затруднительного переезда по краю страшного оврага, заваленного застылыми волнами лавы, мы благополучно достигли до конуса. Тут мы оставили лошаков, надели сицилийские шляпы с широкими полями, запаслись живностью и, взяв длинные шесты в руки, начали карабкаться по крутой покатости, покрытой толстым слоем пепла. Это была самая опасная и самая занимательная часть нашей прогулки. Страх овладел нами. Пепел беспрестанно осыпался под нашими ногами, увлекаемая с собою раздавленные скории, которые с грохотом катились в бездны. По причине крайней редкости воздуха дыхание в груди происходило с чувствительною болью, кровь волновалась, сердце билось сильно, как в горячке. Граф Б*** почувствовал тошноту и должен был прибегнуть к пособию Антонию, который повел его под руку, тогда как впереди синьора Джюльетта,

подобно легкой газели, храбро взбиралась одна на конус, и я, следуя за нею, вежливо поддерживал рукою тонкие ее ножки, которые скользили по рыхлой золе и, при всяком вступлении, обнаруживали круглые, изящные, пленительные икры. Мой приятель, несмотря на тошноту и кружение головы, весьма проворно ронял конец своего шеста прямо на мою руку, всякий раз, как я подставлял ее под ножки Джульетте, и, вероятно, читал по-шведски молитву, чтоб она у меня отсохла. Но мы смело поднимались вверх, а он принужден был остановиться, чтоб перевести дух и собраться с силами.

Наконец, ловкая итальянка и я за нею вскочили на узкий рубезж пасти. В Николози уверяли нас, что в этом месте почва конуса так жарка, что в четверть часа обувь сгорает совершенно; но, прибыв к жерлам, которые уже с лишком полтора месяца оставались в бездействии, мы нашли ее почти холодной и стояли на ней без всякого неудобства. Желая в полной мере насладиться плодом нашего терпения и отваги, мы приостановили все порывы восторга и ужаса, пока наш приятель до нас доползет, чтобы общими силами произнести восклицание, достойное нас и открывшегося перед нами зрелища. Между тем сильный порыв ветра чуть не сдул нас с зыбкого кряжа. Джульетта ухватила за меня обеими руками; я одною рукою обнял ее талию, а другою оперся на шест, глубоко завязший в пепле, и в этом романическом положении ожидали мы нашествия шведа, который был еще в тридцати шагах от нас. Но он тащился медленно, и Антонио кричал нам издали, чтоб мы не стояли на ветре, который может унести нас в жерло. Мы уселись.

Прежде всего, мы посмотрели друг другу в глаза - я нашел этот вид очаровательным, и синьора Джульетта была очень довольна моим мнением,— потом мы оглянулись кругом себя и остолбенели. Под нашими ногами, с одной стороны, лежало мрачное преддверие ада, черное, страшное, бездонное, в которое малейшая неосторожность могла ниспровергнуть нас безвозвратно; с другой, в неизмеримой глубине расстилалась земля с городами, селениями, горами, островами и огромным морем, облитая розовым светом возникающего из хрустальных вод солнца. Здесь нет ничего земного! Джульетта заметила со вздохом, что мы уже сидим на небе, а не на земле, и что наша планета так точно должна быть видна из высокой обители блаженных. Я согласился с ее замечанием, но советовал еще немножко погодить с восхищением, чтобы всем троим вместе произвести один сильный, громовый залп высокопарных возгласов, который бы впоследствии времени изумил, потряс, разбил в пух наших читателей и дал им понятие о том, что такое значит побывать на Этне. Между тем я просил синьору Джульетту позволить переменить ей башмаки, изорванные ходьбою по едкой золе конуса. Граф Б*** уже был довольно близко и отдыхал в пяти или шести шагах от кряжа пасти. Она сделала несколько положенных на подобный случай церемоний; потом, вынув пару новых башмаков из мешочка, отдала в мое распоряжение обувь и кончик своей ножки. Я требовал гораздо обширнейшего поля для моих действий. Наступили жаркие переговоры. Всякий дюйм прекрасной стопы был защищаем ею весьма искусно и оспариваем мною со всею силою будуарного красноречия, перед которым робкий рубчик гроденаплевой[111] юбки отступал назад более и более, пока с общего согласия не определили мы ему нейтральной линии в половине высоты ножки. Наш приятель сердито бормотал какие-то протяжные слова по-шведски. Джульетта вдруг расхохоталась при мысли, что он опять морочит ее шведским языком, тогда как теперь она знает с достоверностью, что это только комедия, сочиненная народною слабостью шведов, и я, снимая старую обувь, пустился хохотать заодно с нею. От вымышления Этны никогда двое сумасшедших не представляли на краю ужасной ее пасти такой веселой и забавной сцены.

Мы подлинно были в небе. Я держал на ладони нежную стопу обворожительной итальянки и, разглаживая пестрый шелковый чулок, сбирался надеть ей первый башмак, как кто-то бессовестно толкнул меня сзади, и я поехал на куче пепла внутрь бассейна, с дамским башмаком в руке.

Джульетта вскрикнула: «Ах!!!»

Швед произнес нараспев: «Из-ви-ни-те, лю-без-ный ба-рон!..»

Но это нисколько не удержало меня. Я катился лавиной по крутой стене роковой пропасти с сугробом пеплу и металлических накипей, хватаясь за скории, которые раздроблялись в горсти, и за торчащие глыбы серы, которые мгновенно обрывались. Наконец, уперся я грудью об одну неровность. Антонио, граф Б*** и Джульетта были в отчаянии. Я слышал их крик, но уже не разбирал слов, ибо, нечаянно заглянув через неровность, увидел подле себя грозное жерло, дышущее на меня смрадною адскою тьмою. Объятый ужасом, я не смел более оглядываться кругом себя и лежал в оцепенении.

Скоро усиленный крик моих спутников исторг меня из этого опасного состояния. Я приподнял голову и увидел, что они бросают мне веревку. По несчастию, конец ее упал в нескольких аршинах над моею головою. Скрепясь духом, я тронулся с места и осторожно пополз вверх, погружая руки в золу по локоть, чтоб найти более опоры. Наконец, достиг я до веревки, которую мог уже достать рукою; но, хватая конец ее, я приподнялся; вся тяжесть тела, сосредоточенная прежде в груди, пролилась в ноги, худо укрепленные на шаткой поверхности; напертая ими зола вдруг осыпалась подо мною, и я опять полетел вниз. В этот раз не спасла меня и неровность, у которой я остановился было незадолго пред тем. Я обрушил, увлек ее с собою и, с облаком поднятой моим падением пепельной пыли, провалился в жерло. Прощай, земля!.. прощай, солнце!.. Вот что значит пускаться со шведами в сентиментальное путешествие на Этну.

Невозможно определить, как долго летел я в бездонном горле волкана: без чувств, без мысли, без памяти, я мчался вниз, подобно камню, с быстротою, увеличивающеюся в содержании квадратных чисел расстояния, как то всякому должно быть известно. Вдруг я очнулся каким-то образом. Чувствуя, что мое тело находится в странном, непонятном для меня положении, я стал рассуждать о том, что такое теперь делаю. Ощупью и соображением разных обстоятельств я скоро приобрел достоверность, что уже не лечу, а вишу горизонтально: полы моего сюртука задели за острый рог скалы, торчащей из стен жерла, и удержали дальнейшее мое падение. Судите ж сами о чувствах, растерзавших мою душу в ту минуту!.. Я заплакал. «Итак, мне суждено было висеть горизонтально!.. — подумал я, схватясь с отчаянием за волосы. — Я должен медленно душиться в этом жарком, мрачном, пресыщенном серою воздухе; задохнуться, прокоптиться в дымной трубе Этны, как окорок, высушиться, как треска, и при первом извержении быть сожженным и выдутым сквозь пасть вулкана на землю, как табачная зола из выкуренной трубки сквозь длинный турецкий чубук!.. И всем этим обязан я старому, испытанному другу! Эти шведы ревнивей самих турок!..»

При воспоминании о шведах негодование вспыхнуло в моей груди так сильно, что, как я полагаю, столб его брызнул с треском и молниями гнева выше самого жерла Этны, и мои спутники, оставшиеся на ее вершине, без сомнения, бегом ушли с конуса, побоявшись взрыва лавы и землетрясения. Я всплеснул руками и закричал горизонтально: «Ах, если б я скорее был выброшен отсюда, и мои кости посыпались градом на голову этому беловолосому обольстителю итальянок!.. Ах, если б каким-либо чудом мог я еще возвратиться живым на землю!.. Ей-ей, прямо с Этны я помчался бы на перекладных в Финлян-дию, разорил бы всю Мурманскую землю, переломал бы все крендели, произвел бы ужасное опустошение!.. и, утопив всех шведов в одном стакане воды, всех молодых шведок пригнал бы полоном в Петербург быть у меня ключницами и кухарками!.. Я возобновил бы там великие времена Новгородской республики[112]...»

Едва произнес я три первые слога последнего слова, мечась в исступлении, как вдруг оборвался и опять полетел в бездну. Подземный воздух, потрясенный моим криком, ревел оглушительным эхом, которое, катясь в пустоте пещерных недр горы, подобно длинному грому, ломало хрупкие пристройки из перегорелой серы и среди грохота разрушения различными тонами повторяло последнюю мою фразу. В продолжение бесконечного моего падения ближайшие пещеры степенного итальянского вулкана с негодованием изрыгали на

меня брошенные в них моим отчаянием легкомысленные звуки: «Республи!.. Респу!.. Республи!..» — и хриплые их отголоски, переливаясь в другие подземелья, распространяли тревогу по всему подземному зданию. Казалось, будто могучая Этна затрепетала гневом, услышав одно лишь начало этого неблагонамеренного слова; и полагая, что в нее как раз провалился беспокойный карбонари[113], который внутри ее хочет заводить республики, ниспровергать вековые законы извержений, ограничивать бюджетом отпуск лавы и производить землетрясения по большинству закрытых баллов, решила немедленно проглотить мятежника, сварить его в огненном своем желудке и выбросить горлом на землю. «Неужто кто-нибудь, — подумал я в испуге, — не услышав моего монолога, сделал на меня ложный донос могучей Этне!..» Я ожидал для себя этой участи, однако мои опасения не сбылись. Я опять уцепился платьем за скалу. Повисев на ней несколько секунд, я упал задом на теплую золу, лежавшую тут же под нею.

Судьба, неожиданно ниспослав мне столь безвредное падение, не хотела довершить своего благодеяния и не дала даже опомниться. В то же мгновение я начал скользить с кучей золы по какой-то крутой покатости. Никакое усилие не могло остановить этого движения, которое, напротив, ускорялось по мере пройденного пути. Наконец, я помчался так быстро, что у меня занялось дыхание и голова начала кружиться. Можно полагать, что таким образом я проехал десять или двенадцать верст по тесному косвенному подземелью, свод которого часто обтирался о мою голову и засыпал мне глаза пылью присохшей серной пены, превращавшейся в порошок от малейшего прикосновения. По сторонам во многих местах тлел огонь, освещая бледным блеском огромные пещеры или выгоревшие в земле пустоты, которыми путь мой был окружен отовсюду. Внутренность Этны уподобляется лесам, воздвигнутым под куполом большого храма: она состоит из толстых кривых столбов и поперечных перегородок, образующих между ними уродливые аркады, своды, навесы и бесчисленные ярусы пещер, расположенных неправильно, набросанных одни на другие в адском беспорядке. Это кузница и плавильня вулкана. В этих исполинских очагах вырабатывается лава, когда внутренние терзания планеты намечут в них горы минеральной массы с серою и горючими газами через боковые проводы, нисходящие внутрь земли, подобно корням дерева, по всем направлениям и до неизмеримой глубины. Крутая покатость, по которой я спускался, по-видимому, принадлежала к числу этих боковых проводов.

Продолжая поездку мою задом в недрах огнедышащей горы, я нашел довольно времени для размышления о своей плачевной судьбе. «Неужели я так жестоко наказан за неверность жене?..» — спрашивал я самого себя — и моя совесть отвечала, что этого быть не может, ибо, во-первых, ни в каком Собрании Законов нет такого указа, чтобы неверных мужей бросать в Этну, а во-вторых, намерения мои были чисты, добродетельны: я хотел только покорить сердце этой генистки и потом повернуть его к стопам моей супруги в знак преданности и уважения. Что же тут предосудительного?.. Все мое несчастье, что на свете есть ревнивые шведы, которые путешествуют с чужими женами!.. Ах, если б, по крайней мере, синьора Джульетта провалилась в жерло вместе со мною?.. Как бы мы здесь весело ехали с нею по этой теплой золе.

Этот бесконечный спуск вдруг пресекся, и я, с кучей пепла, свалился в глубокую яму, дно которой в то же время раздробилось подо мною с треском, разославшим страшные отголоски по смежным пещерам. Я упал в другую яму, гораздо глубже первой, где уже совершенно лишился чувств. В этом полумертвом состоянии я, вероятно, пробил собою своды и многих других выдолбленных подземными пожарами пустот, которые большею частью разделены между собою тонкими перегородками из хрупкого, пережженного в уголь минерала; но уже не помню, что со мною делалось далее. В уме моем сохранилось одно только неясное, лихорадочное воспоминание, что после жестоких потрясений тела многократными падениями повергся я в летаргический сон, в котором, как теперь соображаю, пробыл очень долго.

Проснувшись, я ощущал мучительную тошноту. Голова трескалась от боли. Я ни о чем не думал. Мне только грезилось, как в горячем, удушливом сне, что я нахожусь где-то в земле.

По временам мне приходило на мысль, что, вероятно, я умер и лежу в могиле. В самом деле, я лежал в какой-то узкой яме, как в мешке, и не мог даже поворотиться. Хотя уже я не думал о жизни, но в таком неудобном положении не согласился бы ночевать и в могиле. После многих усилий успел я привстать на ноги и прислонился к стене ямы. Воздух здесь казался сырым, и простое прикосновение удостоверило меня, что земля состоит из крупного песка. Тогда только я вспомнил, что прежде валялся в золе и дышал жарким воздухом. Вдруг навернулась мне на ум Этна; но я не мог отдать себе отчета, в каком соотношении была она с настоящим местом моего пребывания, и скорее стал думать о том, что мне хочется есть. В этом не сомневался я нимало. Невольное влечение, которым мудрая природа одарила наши руки лезть во всех затруднительных случаях в свои, а иногда и в чужие карманы, довело меня до неожиданного открытия: я нашел у себя пару жареных цыплят и большой кусок палермского сыру. Не входя в разбирательства, откуда они происходят, я немедленно истребил голодными зубами половину своего запаса. Мне стало немножко легче.

По мере того, как желудок наполнялся пищею, мысли толпами стекались в мою голову. Мало-помалу я сообразил умом, огрызая вторую ножку цыпленка, что это быть не может, чтоб я был похоронен в этой яме законным образом, на точном основании правил врачебной управы. Я не помню, чтобы наперед высосали из меня половину крови пиявками и начинили меня зельями и порошками; около меня нет ни гроба, ни досок, а в моих карманах водятся сыр и жаркое. Яма, по-видимому, далеко простирается вверх надо мною. Чтоб узнать местоположение, я решился вылезти из нее и стал подниматься вверх, упираясь в стены спиною и коленами.

Я уже вскарабкался было довольно высоко, когда в одном месте песчаная стена подалась назад от сильного давления спины. Я уперся покрепче. Стена внезапно выломалась большим куском, и я, перекувыркнувшись вверх ногами в пробитом отверстии, упал всем телом в какое-то пустое пространство, смежное с моею ямою. Песок засыпал меня почти всего с головою. Я ушиб ногу, однако ж бодро вылез из песку, с твердым намерением тогда лишь предаться в руки неумолимому року, когда съем второго цыпленка и последнюю крошку сыру. Я распростер обе руки: место казалось довольно обширным. Я прошелся несколько раз взад и вперед. — Слава богу!.. вот моя могила: по крайней мере, здесь просторно гнить по смерти. — Я пустился расхаживать по новому моему жилищу, ощупывая руками его пределы. В одном углу мне показалось, как будто наступил я на доски. Не веря своим подошвам, я попробовал рукою. — В самом деле, это доски!.. Они шатки, слабо приколочены; за ними, без сомнения, опять есть пустое место. — Я сел подле досок для удобнейшего размышления о том, что делать и где могу находиться. Теперь я совершенно убедился, что разгуливаю где-нибудь внутри кладбища. — Итак, я забрался в сырое царство покойников!.. Это уж наверное гроб!.. Туда нечего и пытаться: я забьюсь еще глубже в землю. Ежели здесь близко есть живые люди, то они должны быть над моею головою, а не под моими ногами...

Тогда как таким образом рассуждал я с самим собою, звуки глухой отдаленной музыки приятно потрясли мой слух. Я затрепетал от радости, хотя не мог постигнуть, что это значит. — Где же наконец нахожусь я?.. — По зрелом соображении я принужден был заключить, что если я не покойник, то уж по крайней мере сумасшедший или заколдованный. Однако ж музыка не утихала, и чем более я прислушивался, тем яснее убеждался, что она происходит из-за досок. — Так и быть! надо их выломать. — Я вскочил на ноги, стал на одну доску, начал прыгать на ней изо всей силы. Она упала, сопровождая свое движение звонким шумом, похожим на стук падающих и ломающихся бутылок. — О, в этом кладбище мертвецы живут славно!.. — подумал я себе: — у них есть музыка и бутылки. — С отвалением первой доски звук инструментов послышался еще вразумительнее. Я стал на другую доску и чуть подавил ее ногами, как она тоже обрушилась с треском, и я стремглав полетел в новое подземелье, где, падая опять на какую-то дощатую настилку, вышиб часть ее грудью и неожиданно очутился по ту сторону преграды в ярко освещенной атмосфере. Но в то же мгновение свет исчез пред моими глазами, над головою раздался пронзительный крик как бы испуганной

женщины, и мое лицо, грудь и плечи были накрепко приколочены к той же настилке навалившейся на меня тяжестью странного рода — широкою, мягкою, теплою — которая зажала мне рот и пресекла дыхание. Кто-то, казалось, сидит на моем лице, и еще кто-то...

Но для ясности рассказа я должен несколько опередить события. Чтоб получить точное понятие о моем приключении, надобно прибегнуть к пособию «Умозрительной физики» г. академика В***[114] и постигнуть, каким образом и из чего составилась земля в то время, когда ее не было на свете. Вот, извольте видеть: магнетизм положительный, сочетаясь с отрицательным, произвел золото, или начало мужское, и серебро, то есть начало женское, которые беспрестанно тяготят друг на друга; а как благородные металлы представляют свет в тяжести, как субъект в объекте, и суть равны воде, изъясляющей субъективную тяжесть в объективном недоумении, и как, с другой стороны, магнетизм образует тяжесть в свете как беспредельное идеальное в ограниченном реальном, коих обратный способ явления совершает электризм, то от соединения всех этих предметов в субъективном беспорядке произошли когезивная линия и хаос[115]*

и вот почему наша земля в середине пуста!.. Это чрезвычайно ясно. Из этого следует, что так называемый земной шар есть настоящий пузырь, составленный из плотной скорлупы, которая имеет не более десяти или пятнадцати верст толщины, и внутри надутый ветром, то есть попросту воздухом. Внутренняя поверхность этой скорлупы совершенно похожа на внешнюю — зелена, усеяна горами, лесами и озерами, имеет свои моря и реки и населена людьми, животными, птицами, червями и устрицами, точно так же, как у нас, на лицевой стороне шара. Влезьте в земной шар — влезть и вылезти можете вы очень легко посредством умозрений — и поглядите на внутреннюю поверхность его корки; потом высуньте голову из планеты и посмотрите на внешнюю поверхность, и вы не примечаете никакой разницы между ними: подумаете, что первая есть только оттиск второй. И в самом деле, это род оттиска: предметы все те же, и здесь, и там, но расположение их обратно. Здесь, сверху, на земле, видите вы города, памятники, кабаки — там, снизу, под землею, — кабаки, памятники, города; здесь люди живут, движутся, суетятся, врут, женятся, скучают, читают и спят — там они спят, читают, скучают, женятся, движутся, врут и живут. Оно все то же. Одно только разительное, существенное различие, что тамошние люди, в отношении к нам, ходят головою вниз, как у нас мухи по потолку, и что их дома построены фундаментом вверх, вот именно так:

Словом, это тот же свет, только вверх ногами; или свет дном-к-свету; или, сказать яснее, наш свет наизнанку; или, еще яснее — престранное дело!! Уж вразумительнее этого растолковать я не в состоянии.

Довольно, что я, давно вам известный барон Брамбеус, столкнутый ревнивым шведом в жерло Этны, обрываясь со скалы на скалу, скользя задом по охладелым огнепроводам, разными излучистыми путями из пещеры в пещеру, из одной ямы в другую, проникнул сквозь всю скорлупу земного шара и упал в погреб того света, находившийся под домом загородной дачи, а в погребу моим падением выломал квадрат паркета, служившего потолком ему и полом зале. Дача принадлежала одной значительной саном и дородной телом даме, весившей шесть пуд[116] и пятнадцать фунтов[117]; коротко сказать, одной барыне ногами-верх, подземной губернаторше. Она тогда, с помещиками своей области, танцевала кадрили[118] на погребении мужа; и так случилось, что в то самое время, как в честь покойнику делала она высокие антр-ша, я нечаянно высунулся сквозь паркет из погреба в залу. Все это весьма понятно тем, которые учились «Умозрительной физике».

Но я затолковался о теории внутреннего устройства земли и совершенно забыл о моем

положении. Вспомните только, что толстая хозяйка давно уже сидит на мне; что я ничего этого не знаю и что рот у меня зажат мягкой, теплою и широкою тяжестью. Она кричала: «Ай!.. Ах!.. Ай, ай!.. вор!.. изменник!.. разночинец!..» — Я хотел отвечать: «Извините, сударыня: вы меня обижаете!..» — Но мой голос вспыхивал и гаснул в груди без звука, как порох на загвозженном запале. Я задыхался и гневно шевелил головою; но чем более делал движения, тем сильнее она жала меня коленами, душила и кричала. Мне было хуже, чем в пасти волкана. С отчаяния я укусил мягкую тяжесть, наполнявшую мой рот непроницаемым для воздуха и голоса веществом. Моя неумолимая притеснительница завизжала: «Ах!.. Змей!.. кусается!..» — и, вскочив на ноги, упала в стоявшие поблизости кресла.

Я освободился; но с устранением тяжести, которою доселе был прикован к полу опрокинутого дном вверх света, мое тело, привыкшее тяготить к центру земли, вдруг отторгнулось от паркета, и я полетел на потолок залы, о который чуть не раздробился в мелкие куски. По счастью, я не пробил его собою. Опомившись от испуга, я оборотился лицом к зале и сел на потолке. Все расхаживавшее по полу собрание, приведенное в ужас моим появлением и еще более моею наружностью, в которой сквозь сажу, золу, песок и отрепья изорванного, перегорелого платья едва можно было различить след человеческой твари, попряталось под стулья, столы и диваны или ушло в другие комнаты, крича: «Черт! черт!..» — Я с своей стороны кричал им: «Не черт, а барон Брамбеус, надворный советник!.. Не бойтесь: я служу по особнным поручениям по управлению лошадьми, подвигаюсь для улучшения их породы!» — Но в замешательстве, остолбенении, шуме никто меня не услышал. Впрочем, страх и изумление были обоюдны: я столько же был поражен видом людей, бегающих, как ящерицы, по поверхности, которая по мне занимала место потолка, сколько они были встревожены присутствием живого существа, сидящего на их потолку и, по их понятиям, головою вниз.

Скоро, однако ж, жестокое их недоумение уступило место любопытству. Многие начали высовывать головы и привздергивать их к потолку, чтоб приглядеться ко мне получше. Моя неподвижность внушила им довольно смелости вступить в разговоры и мало-помалу оставить свои убежища. Те, которые боялись чертей только наполовину, единственно из уважения к их хвосту и рогам, собрались на середине залы, прямо подо мною, и принялись излагать разные на мой счет теории. Мнения были различны; никто не мог неоспоримо доказать, что я такое. Наконец, прения сделались очень жаркими, и толпа нечаянно распрыснулась по углам залы и по смежным комнатам. Я только сидел и удивлялся. Но вдруг все они снова сбежались на середину залы, вооруженные биллиардными киями, щипцами, кочережками от каминов и тростями, и все поочередно начали дотрагиваться, пырять, дразнить и рвать меня с разных сторон, чтоб дознаться, из чего я создан. Я сердито заметался на потолке. Они испугались и опять рассеялись. Через несколько минут привели они из отдаленной комнаты подземного философа ногами-верх, в большом напудренном парике, в желтых штанах, в длинном коричневом фраке с пол-аршинными манжетами и в серых полосатых чулках с тем, чтобы он определил им меня и подвел под правила ученой классификации. Философ стал на стул, взял щипцы у одного из гостей, пощупал меня ими в разных местах тела и сказал: «Что ж тут мудреного узнать?.. Это человек седьмого класса!.. Да!.. человек, дворянин и даже чиновник; но, видно, не учился физике, не знает законов тяготения, и вместо того, чтоб стремиться своею тяжестью к внешней поверхности земного шара, как мы, он тяготит к его центру. Это ложная система. Вероятно, он воспитан в превратных правилах, заражающих теперь многие университеты».

Это объяснение успокоило взволнованные умы собрания, но чрезвычайно изумило меня. Каким образом, не входя со мною в объяснения и только пощупав меня угольными щипцами, угадал он мигом, что я 7-го класса?.. Это удивительно!.. Но я начинаю постигать существо света ногами-верх. Потому-то и здешние философы умные люди.

Философ ногами-верх советовал хозяйке не прерывать для меня такого важного обряда, каков поминание только что преданного земле незабвенного ее супруга, и продолжать танцы. Наскучив сидением, я, между тем, встал и начал ходить по потолку. Это возбудило общий

хохот. Мужчины и дамы не могли налюбоваться на мои движения. Многие, обращаясь ко мне, убедительно просили соскочить к ним на пол, перекувырнуться на ноги и протанцевать с ними хоть один галлопад в честь достойному, несравненному — вечная ему память! — правителю их губернии, которого они так любили, что век не перестанут по нем плясать. Учтиво благодаря их за приглашение, я извинялся тем, что не умею ходить по их полу и боюсь свернуть себе шею. «Однако ж я готов разделять с вами жестокою печаль, угнетающую ваши сердца, хотя в тех странах, где я родился, она изъясняется несколько иначе, — присовокупил я. — Охотно потанцую с вами по почтенном хозяине этого дома; но прошу, позвольте мне остаться на потолке. Я буду танцевать здесь, а вы танцуйте на вашем полу».

Сказав это, я попросил одного франта вывороченного ногами вверх света одолжить меня парюю белых перчаток, и он уступил мне свои, не обидев меня никакою глупостью. Право, странный свет!.. Вооружась ими, я протянул над своею головою руку к хозяйке, приглашая ее по старому знакомству на кадрили со мною. Она с жирною улыбкою взаимно выпрямила толстую свою руку над великолепным чепчиком, похожим на розовый куст в полном цвете. Высота комнаты именно позволяла нам достать друг друга кончиками пальцев, так что, соединив наши руки, на первую фигуру кадрили составили мы с нею перпендикулярную линию от потолка к полу. Музыка загремела, и мы весело пустились плясать: я по потолку, а она по полу, образуя вместе прелестные фигуры, которые удалось нам исполнить легче, нежели как мы полагали. Я никогда не танцевал так славно. Губернаторша прыгала с необыкновенным усердием, так что я сам был тронут ее любовью к покойному мужу. Все были в восхищении.

По окончании кадрили гости просили философа дном-к-свету объяснить со мною ученым порядком обо всех касающихся до меня обстоятельствах, быв уверены, что я человек сверхъестественный, когда не только хожу, но и так ловко танцую по потолку. Философ, торжественно выступив на середину залы, отвалил голову за спину и уже собирался предложить мне вопрос, как многие ему заметили, что это положение слишком неудобно для философских рассуждений и что гораздо было бы сходнее, если б он сел на печке и оттуда разговаривал со мною. Это мнение единогласно было одобрено всеми. Несколько молодых людей схватили философа на руки и пособили ему взлезть на высокую печь. Я уселся против него на потолке; наши головы в обратном направлении принадлежащих им носов были уставлены таким образом, что я мог положить мои уста в его уши и он сделать то же со мною, и мы начали разговор.

— Я с большим удовольствием смотрел, как вы танцевали по потолку, — сказал философ. — Вы танцуете прекрасно; но я вижу, что вы придерживаетесь в танцах системы тех философов, которые утверждают, что в природе нет ни верху, ни низу.

— Милостивый государь, — отвечал я ему, — мы у себя в наших странах всегда танцуем по Кеплеру и Ньютону[119], строго придерживаясь законов тяготения и становясь в позицию ногами к центру земли.

— Вы очень хорошо делаете, что строго придерживаетесь законов тяготения, предписанных вам вашими мудрецами, — примолвил философ, — от этого зависит весь порядок мира. Но вы бы чрезвычайно нас одолжили, особенно почтенную хозяйку дома, которая питает истинное к вам уважение, если б для нашего удовольствия благосклонно согласились сделать маленькое отступление от этих законов и потяготеть немножко, вместо потолка, на наш пол, чтоб протанцевать котильон[120], стоя головою к центру земли. Мы надеемся...

— Вы требуете от меня невозможного, — возразил я. — Законы тяготения вещь священная; никто не в силах сопротивляться их действию, и я никогда не соглашусь...

— Сделайте одолжение!.. Дамы вас просят!..

— Помилуйте, господин философ! Как же вы хотите, чтоб я не соблюдал даже законов тяготения, которые соблюдают и камни, которые всякий честный и беспристрастный человек должен соблюдать под опасением сломать себе шею?..

— Дамы вас просят!..

— Ах, боже мой, господин философ! Подумайте только: вечные законы тяготения!..

— Они со временем могут перемениться: выйдет новое толкование и...

— Но у меня, в моей земле, есть книга, в которой они напечатаны!

— Нужды нет!..

— Нет!.. этого я не знаю; и в наших странах это вовсе не в употреблении.

— Так что ж?.. Вы решительно не благоволите потяготеть в нашу пользу?

— Милостивый государь, вы хотите довести меня до лихоимства в деле с могущественною природою. Попрать законы тяготения!.. Образумьтесь!

— Безделица!.. Такие ли законы иногда попираются для котильона!.. Для друзей, в угождение хорошеньким дамам, из уважения к почтенным лицам на свете все можно сделать...

— И вы требуете, чтоб я не исполнял таких непреложных законов?

— Вы исполните их при другом случае, когда никто просить вас о том не станет.

— Но теперь это останется на моей совести...

— Отнюдь нет! Ваша совесть должна быть спокойна, потому что вы и теперь будете исполнять ваши законы.

— Как? — воскликнул я. — Нарушая законы, я буду исполнять их?

— Конечно! — воскликнул философ. — Самое то обстоятельство, что закон нарушен, ясно доказывает, что он приводится в исполнение, что он еще действует и имеется в виду.

— Разве оно так у вас!

— Да! мы иначе не умеем исполнять законов.

— А у нас так это напротив. С позволения вашего, мы совсем иначе умеем исполнять законы и действуем по точному смыслу правил, не только тяготения, но и притягания.

— Вы очень упрямы! — сказал философ. — Вы, однако ж, видите, что мы тяготим совсем в другую сторону и живем прекрасно?.. Я уверен, что со временем и вы будете тяготеть по-нашему и что за всем тем ваши законы останутся в книге совершенно целы и ненарушимы. Позвольте спросить вас, каким путем приехали вы в знаменитый погреб покойного нашего губернатора?

— Я приехал, к вашим услугам, через огнедышащую гору Этну, — отвечал я.

— А!.. через Этну!.. — воскликнул он, — это обыкновенный тракт. Следственно, вы пожаловали к нам с наружной поверхности земного шара. Не были ли вы там знакомы с Пифагором или с Эмпедоклом[121]?

— С Пифагором или с Эмпедоклом... — повторил я с некоторым удивлением. — Ведь они

жили в глубокой древности?

— Правда, что они жили давно, — сказал философ, — но они тоже провалились в Этно...

— И тоже упали в погреб этого дома? — прервал я.

— Нет; они, как древние философы, упали в наши древние классические погреба, где хранилось классическое вино, вкус и букет которого, ныне потерянные, составляют у нас предмет ученых споров, — отвечал он.

— Так ваши ученые занимаются подобными пустяками?.. определением вкуса и букета древнего вина? — присовокупил я.

— А ваши ученые?.. — возразил он. — Они, верно, посвящают свой ум чему-нибудь противоположному вину.

— О, совсем противоположному!.. — воскликнул я. — Они ссорятся за кувшины и горшки, в которых вино стояло у древних.

— Это так и должно быть! — сказал философ. — Пифагор и Эмпедокл в сочинениях своих, которые у нас оставили, уверяют, что действия вашего света с действиями нашего составляют совершенную противоположность. Наш ученый свет и ваш глядят головами в две различные стороны и, вместе взятые, образовали б род бубнового валета. Что у вас думают о земле?

— Что она в середине плотна, — отвечал я. — Это общее мнение наших ученых.

— А мы думаем, напротив, что она пуста, — примолвил он, — и вы видите, что мы думаем основательно; что с ваших ученых по-настоящему следовало бы снять все чины и взыскать все жалованье, которое получали они напрасно за свои мнения и системы об устройстве земли. Вы, однако ж, предполагаете, что земля вечно течет в пространстве, совершая свой путь вокруг солнца: как же могла б она нестись в пространстве, если б не была пуста в середине и не уподоблялась воздушному шару?.. Мы также имели ошибочное об ней понятие и полагали, напротив, что она простирается вне до бесконечности; но от Пифагора и Эмпедокла узнали о существовании лицевой стороны ее и о том, что там есть люди. Эти два педанта долго жили у нас, сочинили много книг и у нас же скончались. Эмпедокл, впрочем, был умный малый и доброго характера: он скоро выучился ходить по-нашему и забыл свои обратные обо всем понятия. Но с Пифагором мы никак не сладили: он жил и умер на потолку и на потолку хотел быть похоронен. Ваш Пифагор, право, был немножко сумасшедший: он изобрел для вас таблицу умножения и спорил с нами до слез, что дважды два - четыре.

— Вам это кажется странным? — вскричал я, выпучив изумленные глаза на философа.

— Конечно! — примолвил он хладнокровно, — у нас принято и доказано, что дважды четыре — два.

— Полноте! — сказал я. — Вы уж слишком далеко простираете систему противоположности. И по этой арифметике ведете вы ваши счета?

— Без сомнения! — отвечал он, — И уверяю вас, что итоги выходят очень верны. Не думайте, чтоб я шутил: ведь у нас есть контроли, которые поверяют наши счета с большим вниманием и находят их исправными.

— Ну, а наши контроли, на лицевой поверхности земли, — воскликнул я, — за подобные счета весь ваш свет ногами-вверх отдали б под суд.

— Потому что они следуют ложной арифметике Пифагора! — подхватил философ с

значительную улыбкою. — Но позвольте вам заметить: вы упомянули о суде - следственно, у вас боятся суда?

— Очень!

— Какая противоположность! — вскричал философ. — А у нас просятся под суд.

— Скажите же мне, — спросил я, — что у вас делают, когда хотят наказать провинившихся в неправильных поступках? у нас, на земле, заключают их в тюрьмы на долгое время.

— А у нас, под землей, в наказание медленно их оправдывают.

— Какая противоположность! — вскричал я. — Нет, у нас на земле гораздо лучше. Там дела решаются по законам.

— Вы шутите?..

— Уверяю вас честью.

— Какая противоположность! — вскричал философ. — А у нас законы решаются на то или на другое, смотря по делам. Кто же у вас занимается этою частию?

— Как, кто?.. Я не понимаю вашего вопроса.

— То есть кто произносит приговоры? У нас это предоставлено секретарям и женщинам.

— Какая противоположность! — вскричал я. — В наших странах это возложено на умных и непоколебимых судей. Поэтому ваши женщины вмешиваются не в свои дела?

— А ваши?

— О, наши женщины думают только о своих мужьях, детях, хозяйстве, о чтении, о забавах и своих лентах, которые доставляют им мужья.

— Ах, какая ужасная противоположность! — вскричал философ. — А у нас женщины думают только о своих любовниках и хлопочут о лентах для своих мужей.

— Кстати о чтении: есть ли у вас хорошие книги?

— Нет. Но у нас есть великие писатели.

— Так по крайней мере у вас есть словесность?

— Напротив, у нас есть только книжная торговля.

— Итак, у вас решительно все наизнанку против нашего! — воскликнул я. — Я никогда не привыкну к этому порядку вещей!

— Вам так кажется сначала! — примолвил философ, улыбаясь.

Мы замолкли. У меня голова уже кружилась от проти-воположностей. «Станный свет! — подумал я. — Но они ходят ногами вверх; так у них все должно быть наыворот!..» Чтоб переменить предмет разговора, я сказал философу:

— Объясните мне одно обстоятельство, которое только теперь приходит мне в голову. Мы с вами рассуждаем довольно долго. Я говорю по-русски, а вы каким-то другим наречием. Как же это случилось, что мы понимаем друг друга? Сколько помню, я никогда не учился подземному диалекту. Как называется ваш язык?..

— Наш язык?.. — спросил изумленный философ. — Мы говорим здесь по-немецки. Разве вы не заметили этого?

— По-немецки!!! — воскликнул я с удивлением — и стал разбирать в уме некоторые произнесенные им слова. В самом деле, это немецкий язык, только наизусть!.. Вот почему здесь я так хорошо его понимаю, тогда как на земле почти не мог различить от чухонского! Итак, немецкий язык, которым германцы говорят на лицевой стороне земного шара, потому только неудобопонятен, что они говорят им лицевую стороною; а выверни его наизнанку, то есть послушай его наоборот, он выходит тот же русский язык, ясный, приятный, сочный, только без грамматики, потому что он уже процежен сквозь немецкие зубы, в которых вязнут все наши окончания, так, что они принуждены добывать их оттуда зубочисткою. Странно, что я прежде об этом не догадался!..

Это открытие крайне меня обрадовало; стоит только провалиться в Этну, чтоб понимать язык Канта, Фихте, Шеллинга[122], даже никогда ему не учившись! Я сблизился с философом, просил его быть моим приятелем, наставником, путеводителем в стране, столь для меня чуждой и загадочной, в которой, по-видимому, суждено мне навсегда остаться, и начал было длинный комплимент насчет его ума, познаний, опытности, седин, как вдруг он схватил меня за воротник и начал колотить кулаком по шее. Сначала я только изумлялся, не постигая, чем бы его обидел; но при втором, при третьем ударе мне стало досадно. Видя, что философ дерет меня не в шутку, я осердился и толкнул его в бок. В ответ он отпустил мне два жестоких толчка и продолжал потчевать меня кулаками. Я кинул изумление в сторону, взял вывороточного немца за горло и принялся валять его по-русски.

Мы дрались с настоящею яростию. Сражение двух противоположных светов на печке подстрекнуло любопытство собрания; танцы прекратились на полу и многие голоса вскричали:

— Посмотрите, посмотрите, как они подружились!

— Ах, как они обожают друг друга!

— Иные после десяти лет испытанной дружбы не дерутся так чистосердечно! Он должен быть создан для нежности.

— Но и наш философ влюблен в него без памяти!.. — присовокупили другие.

В пылу сражения я не понял их восклицаний, которые довольно походили на насмешки. Забыв о системе противоположностей, я наделял философа полновесными ударами, на которые он, с своей стороны, возражал весьма жарко. Он запустил свою руку в мои волосы; я, сорвав с него парик, схватил его за нос, и мы сцепились, как бешеные пантеры. Наконец, философ застонал в моих когтях и свалился с печи. По несчастию, своим падением он увлек меня с потолка; и, не будь система противоположностей, которая в этот раз весьма кстати подоспела нам на помощь, мы, наверное, убились бы оба вместе. Но я, как известно, тяготил к центру земли, а мой противник естественною своею тяжестью направлялся к внешней ее поверхности. Как мы оба весили одинаково, по 5 пуд и 6 1/2 фунтов, то действием двух обратных притягательных сил завязли в них в половине высоты залы, подобно железному гробу далай-ламы[123], удерживаемому на воздухе двумя магнитами, — ежели это правда? — и никак не могли перетянуть друг друга.

Мы повисли в воздухе, в равном расстоянии от потолка и от пола, визжа, вертясь, оплетая друг друга руками, толкая коленами и тормоза изо всей силы. Гости кричали мне, что уже довольно, что их философ совершенно уверен в моих к нему чувствах уважения и приверженности. Они хотели разнять нас, стараясь поймать того и другого за ноги; но мы так шибко размахивали ими в воздухе, что никто не мог приступить. Вдруг я почувствовал, что кто-то схватил меня за левую ногу обеими руками и сильно тащит к полу. Я перестал бить

философа, у которого почти уже не оставалось души в теле, и двое молодых людей ловко вывернули его из моих объятий. Влекомый в одну сторону чуждою рукою и, с противной, удерживаемый старою привычкою тяготения внутрь земного шара, я спускался к полу по лучу центропритягательной силы, как по гилям, с приметным и от самого меня не зависящим сопротивлением. Наконец, тот, кто тащил меня за ноги, притянув их плотно к паркету, сказал мне:

— Ну, теперь укрепитесь хорошенько подошвами и ступайте по полу. Смело!.. Не бойтесь!..

— Хорошо, попробую!.. — сказал я. — Пустите же мои ноги.

Он пустил, и я, скрепясь сердцем, пошел, — раз, два! -Право, можно ходить и по этой методе! — Раз, два, три! — можно и танцевать! — Раз, два! — раз, два!.. Все присутствующие закричали навыворот: «Браво! браво!» — и я уже расхаживал навыворот по их зале, как на своей родимой мызе. Так это только предрассудок, что надо непременно ходить так, как велят ум и природа!.. Можно жить славно и ногами вверх: стоит только решиться!

Но лишь только оборотился я вверх ногами, в голове моей все понятия, сведения и мысли начали тоже кувыркаться одни за другими и принимать одинаковое с телом направление. Старые, забытые, гнилые понятия, оставшиеся еще от учебных книг и лежавшие кучею без употребления, зашевелились вместе с прочими и наполнили жилище умственных сил густою, горькою пылью, которая заструилась сквозь глаза, ноздри и уши в виде серого, грязного табачного дыма германской учености и произвела в горле удушливый кашель. Никогда еще в человеческом уме не происходило такой суматохи. В мозгу сделалось так темно, как в диссертации о разумной душе, и я уже полагал, что в моей голове или преподается умозрительная философия, или наборщики затеяли «достославную революцию», которая будет продолжаться три дня. Я был в каком-то опьянении. Но когда этот переворот кончился, когда все мои понятия построились рядом вверх ногами, я, быв прежде бестолковым человеком, вдруг почувствовал себя чрезвычайно умным — да так умным, что если б в ту минуту находился я на лицевой стороне земли, как раз был бы единогласно избран в оппозиционные члены французской палаты депутатов! Вот что значит вывернуть самый простой, обыкновенный ум наизнанку!.. И опять открытие! Какой, однако ж, у нас на земле народ недогадливый! Нередко с таким трудом ищем мы у себя умных людей, чтоб поручать им места или дела, а о том и не думаем, что ум есть только противоположность глупости, и довольно первого попавшегося дурака оборотить вверх дном, так выйдет умный человек, хоть куда. Да здравствует подземная система!

Но полно учить людей уму: обратимся к моим приключениям. Как скоро начал я ходить навыворот, по местному обычаю, не отличаясь от других, мужчины мигом смекнули, что я должен быть смысленный малый и далеко пойду вперед; но женщины очень сожалели, что я сделался похожим на их мужей, и сказали, что прежде я был гораздо милее и занимательнее. Сыновья хозяйки повели меня в свои комнаты. Я выбрился, вымылся, переоделся в их платье, и мы опять пришли в залу. Подземельцы, окружив меня, с любопытством стали расспрашивать о том, что происходит на той стороне земной скорлупы и что на ней делал я сам. Все мои ответы возбуждали в них неизъяснимое удивление: противоположность нашего быта и наших понятий казалась им почти несбыточною. Дамы в особенности не хотели верить, чтобы наши женщины серьезно делали обет в верности своим мужьям: они как раз провозгласили бы меня обманщиком, если б философ не спас моей чести, сказав им, что Пифагор и Эмпедокл тоже свидетельствуют о том в своих сочинениях и что это весьма правдоподобно, ибо там все наперекор здешнему.

— В таком случае, — воскликнули подземельные дамы, — женщины внешней стороны шара должны быть ужасные плутовки!..

Философ примолвил, что, по некоторым спискам Пифагоровых сочинений, если только они не

искажены злоумышленными переписчиками, оно почти так и выходит. Я хотел сказать с жаром: «Неправда!» — и невольно сказал вверх ногами: «Да!»

Я покраснел от стыда. Тьфу! Какое странное действие обратных сил опрокинутой головою вниз природы!.. Язык даже ворочается вспять: и еще у женатого человека!!.

Хозяйка и ее подруги усердно поздравляли меня с тем, что я съехал с такого вероломного света, утверждая, что с ними буду я в совершенной безопасности от измены, ибо они не станут обнадёживать меня никакими обетами. Ежели здешний порядок вещей сначала покажется мне немножко чудным, то, по их словам, это невыгодное впечатление я должен приписать единственно тому, что их мир стоит дном-к-свету откровенно, без ширм для прикрытия положения и без официальных газет для показывания противного, ибо у них нет лицемерства, — то есть, оно бывает и у них, но так же редко, как и у нас на земле чистосердечие, и потому считается почти добродетелью. Как я уже не вправе питать надежды на возвращение в подсолнечные край, то подземные дамы советовали мне не делать церемоний, поселиться у них ногами вверх, избрать себе жену навыворот, устроить свое хозяйство вверх дном, прижить детей опрокидью и быть счастливым, как только возможно быть им в ту сторону, против шерсти. Я обещал дамам последовать их совету. Подземные мужчины заманивали меня в службу. Я обещал мужчинам усердно служить наизнанку их отечеству. Подземный философ твердил, что я буду совершенно доволен их светом и даже любим его жителями, если только захочу исполнять в точности наставления Пифагора и Эмпедокла, которые говорят, что нет ничего легче, как приноровиться к здешним обычаям: надо только стараться во всяком случае поступать точь-в-точь противоположно тому, как поступают по ту сторону земной корки. Я обещал философу держаться обеими руками за Пифагора и Эмпедокла.

Посреди этого разговора хозяйка и гости вдруг вспомнили о добродетелях покойного губернатора, выскочили из кресел и пустились вальсировать отчаянно. Я, философ и несколько подземельцев остались в углу залы. Мы продолжали начатые рассуждения. Против меня стоял один человек среднего роста, плотный телом, но тонкий умом, нежный, сладкий, приветливый, с потупленным взором, с лицом, вымазанным улыбкою, с плоским, лоснящимся челом, наклоненным к полу точно так, как наклоняются вешаемые на стене против света старые картины, чтоб скрыть их пятна и недостатки, пролив обманчивый свет только на ту часть живописи, которую хозяин желает сделать приметною. Из-под век, опущенных искусно, подобно шторам в гостиной пожилой кокетки, блестящий его взор падал на паркет косвенными лучами, которые, отражаясь от гладкой поверхности, впивались в вас снизу, пронзали вас насквозь от желудка к плечам, жгли в коленях, под локтями и в подбородок, ползали по спине и щупали повсюду: в голове, в сердце и по карманам. Мне казалось, что я посажен на кол. Если б это было у нас, на земле, я сказал бы, что он какой-нибудь обращенный из грешников святоша; но как мы встретились с ним под землею, где все противоположно с нашим, то я мигом угадал, что он должен быть доносчик. Я узнаю приятеля, хоть бы он сто раз обернулся вверх ногами: я столько видел их в Италии!.. По гордости, придавленной острым подбородком и беспрестанно вылезающей из-за галстука, по беспокойству всего тела, по судорожному сведению жилок в лицевых ямочках, по короблению сухой кожи на дрожащих пальцах, не мог я не различить в этом подземельце шпиона высшего разряда, лазутчика-аматера[124], незваного и вездесущего гостя, существо, пожираемое честолюбием, жаждущее значения и, подобно кошке, бросающееся с распростертыми когтями во все углы, где только зашевелится тень средства к выигрышу и, за неимением других доблестей, готовое выслуживаться покровителям — чем бог помиловал! клеветою и подлостью. Он всячески пытался завлечь меня в разговор о политике и религии наружной поверхности земного шара, чтоб разведать мой образ мыслей, подкапывался под мои чувства, карабкался ногами и руками на мои мнения, рылся, как крот, в моей совести - и ничего не узнал. Я удачно отразил шутками все его приступы. Видя мое невежество в делах этого рода или невозможность заставить меня проболтаться при свидетелях, он взял меня за

руку, отвел к окну и сказал вполголоса с неподражаемым добродушием, что он совершенно согласен с моими мнениями и считает себе за честь быть одинаковых со мною правил.

Я улыбнулся.

— Я терпеть не могу политики, — присовокупил он еще умильнее. — Даже не знаю, что делается у нас, под землю. Мне какая до этого нужда!.. Я люблю свое спокойствие и не ищу почестей. Хотя, сказать по совести, у нас все делается навыворот: не правда ли?.. И я сообщу вам за тайну, что мы не довольны нашим положением: мы начинаем постигать, что скучно сидеть взаперти внутри земного шара, что здесь очень душно и неловко - не правда ли?.. Мы тоже хотели бы на солнце, не правда ли?.. Признайтесь мне, с какою целью прибыли вы сюда?.. Быть не может, чтобы вы провалились к нам без намерения, не правда ли?.. Как вы полагаете: что, если б здесь, внутри земли, вспыхнула между нами ужасная буря, но такая, чтобы земной шар лопнул и развалился на две половины, как пустой арбуз?.. Я думаю, что это было бы очень полезно для здешнего края, не правда ли?.. Мы, по крайней мере, погрелись бы на солнце, увидели бы небо и нахватили бы с него для себя звезд, которые у нас доселе очень редки. Если вы прибыли к нам, чтоб руководствовать нас в этом перевороте, то сообщите мне ваш план: я готов вам содействовать от всей души. Но — ссс! — молчите и не вверяйте ваших тайн никому другому, кроме меня. Здесь — знаете! — опасно; доносчиков тьма, и каж-дый из этих господ, которых вы видите, в состоянии изменить вам. Со мною другое дело. Я человек просвещенный и люблю звезды; мне можете вы верить, как самому себе. Я полюбил вас с первого взгляда и хочу быть вам полезным. Надеюсь, любезный друг, что вы в полной мере оцените мою к вам преданность: не правда ли?

Я был изумлен странным его предложением расколоть земной шар, но растроган его добродушною заботливостью о моей безопасности. Уставив на меня свои тонкие, острые, сверкающие взоры, он говорил с такою пленительною искренностью, с таким теплым чувством приверженности, что очаровал меня, как гремучий змей пораженную его взглядом птичку; и я стоял перед ним в глубоком недоумении, беззащитно дожидаясь, пока он меня поглотит. Я уже совсем не думал об его низком ремесле: он произнес последние слова с таким удивительным, честным излиянием сердца, что я не знал, как возблагодарить его за дружбу. Первый случай представился мне к обнаружению моего знания правил общежития, и я стал в тупик!..

К счастью, я как-то вспомнил о Пифагоре и Эмпедокле и, в смятении, нерешимости, не долго думая, треснул его по щеке изо всей силы. Мой сердечный друг трижды обернулся на пяте передо мною.

Я полагал, что он будет весьма доволен моей учтивостью; но, к большому моему удивлению, он надулся, отошел от меня к своим землякам и громко сказал в их кругу, что я грубиян, не умею почитать людей достойных и честных. Я смекнул, что сделал глупость. Философ и множество гостей прибежали ко мне в отчаянии, спра-шивая, чем я его обидел, и давая мне уразуметь, что он человек гордый и опасный и поступать с ним надо чрезвычайно вежливо. Я рассказал им весь случай.

— Ведь я говорил вам в точности держаться наставлений Пифагора и Эмпедокла! — воскликнул философ с нетерпением. — Они положительно советуют прибывающим сюда с лица земли, которые желали бы приобрести любовь здешних жителей, делать все в противоположность правилам тамошнего общежития, и говорят: «Чем противоположнее поступите, тем будет учтивее и лучше». Этот господин, сказали вы нам...

— Утверждал, что вы доносчики, — прервал я. — Он предостерегал меня насчет вас, уверял в своей честности, просил сообщить мои тайны ему лишь одному и клялся в своей ко мне преданности и дружбе.

— Как же в подобном случае поступают у вас с таким человеком?

— О, по нашим обычаям, — воскликнул я, — по нашим утонченным обычаям следовало бы чувствительно пожать у него руку с приятною улыбкою и поцеловать его в лицо.

— А вы?..

— А я дал ему оплеуху, по Эмпедоклу.

— Правда, что это довольно противоположно! — сказал философ. — Вы уже начинаете прекрасно понимать здешний порядок вещей и скоро перещеголяете нас самих. Но вы не прогневайтесь, когда я сделаю вам одно замечание: всякий свет, в отношении к нравам и учтивости, имеет свои тонкости, которые иностранцам бывает весьма трудно перенять с первого разу. Пощечина, вместо поцелуя в щеку, как ни противоположна последнему, все еще она как-то слишком слабо, слишком холодно выражает признательность за такую важную услугу, какую хотел он оказать вам, ибо есть средство быть гораздо учтивее, делая еще противоположнее, а Эмпедокл говорит: «Чем противоположное, тем лучше». Если б вместо удара в лицо вы...

— Пойдите!.. — вскричал я, останавливая речь философа, — теперь я чувствую свою ошибку. В самом деле, можно было поступить еще противоположнее. Я исправлю ее немедленно...

С этими словами прыгнул я в другой конец залы, где мой приятель занят был жарким разговором с несколькими помещиками. Я обошел его потихоньку и хлопнул коленом в зад так удачно, что он чуть не исчертил всего паркета концом своего носа. Он обернулся и, увидев меня, промолвил с сладкою, как мед, улыбкою:

— А!.. я всегда был уверен, что вы человек благовоспитанный и знаете, что кому следует воздать.

Я поклонился и перешел с торжественным видом к моим собеседникам. Они вскричали: «Прекрасно!»

— Прекрасно! — вскричал философ, — только держитесь в точности Эмпедокла.

С тех пор я пошел жить ногами-вверх, как следует. Общество, в которое попался я из погреба, было приятно, но мысль о будущем уже начинала мучить мое воображение. Я удалился в угол и стал думать нижеследующим образом: — Они, кажется, добрые люди, хотя имеют дурную привычку ходить вверх ногами. Но — почему знать! — быть может, оттого они и добрые люди, что они люди вверх-ногами?.. За всем тем, я для них чужое лицо: у меня здесь нет ни тетушки, ни собственности, ни наследства в виду. Если б, по крайней мере, были у меня деньги!.. Нельзя ли обыграть их в карты, по-нашему, по-петер...

.....

Но я вижу, что уже вам наскучил. Скажите правду: мои путешествия кажутся вам слишком длинными?.. Если так, я сейчас кончу, изломаю мое перо, не произнесу более ни слова. Ступайте в книжную лавку и купите себе другую книгу, которая, без всякого сомнения, скажет вам что-нибудь умнее моего. Перестаю в половине рассказа. Перестаю тем более, что у меня есть хороший приятель из книгопродавцев, которого я очень люблю и уважаю, который лучше меня знает, как должно сочинять книги, и который, пришед ко мне сию минуту, спросил о числе написанных листов и поморщился на бесконечность моего рассказа. О, он отменно

понимает книжное дело!.. Его ничем нельзя сбить с толку. Возьмите его, как он есть теперь — он книгопродавец; оберните его вверх ногами — он опять книгопродавец. Он был бы в состоянии вести книжную торговлю даже внутри земного шара, там, где нет словесности. Он понимает сердце покупателей, сердце благосклонной публики, как свою приходо-расходную книгу, и говорит, что за десять рублей надо вам дать не длинное сочинение, но длинное оглавление. Как я завидую философскому его положению в этом непонятном свете!.. Он знает объем голов сочинителей и читателей, как собственного своего кармана! Он говорит: такая-то авторская слава стоит 258 рублей и 79 копеек с печатного листа; можно даже дать за нее 259 рублей, но более ни копейки. Потом, обращаясь к вам, к благосклонной публике, он опять исчисляет количество вашей любви к изящному на рубли и копейки, вашего терпения на строки; он ведет счеты вашему просвещению по двойной бухгалтерии: берет ваш ум и заглавный лист книги и примеряет их один другому, как два башмака; кладет на весы; с одной стороны — ваш вкус, с другой — красную бумажку и несколько статей в стихах и прозе и смотрит: вкус своею тяжестью перевесил деньги и изящное! — он подбавляет к последнему еще три тетрадки, — мало! — еще две, — мало! — еще одну статейку, — и этого мало! Надо подкинуть длинное оглавление и красную оберточку — вот теперь довольно! Он рад, и вы будете рады. Тогда он смело записывает ваше восхищение в долговой приход и спокойно ожидает срока платежа. Он слишком умен и добросовестен, мой почтенный приятель, чтоб я не послушался его совета: он боится, что мое длинное сочинение, с ничтожным в три строки оглавлением, не перетянет вашего вкуса. Так и быть: я замолчу. В другой раз я опишу вам мои похождения под землю: они очень любопытны!.. Я много испытал вверх ногами и видел много вещей в том же роде.

Во-первых, я путешествовал вверх ногами по разным подземным государствам: все они стоят опрокидью, хотя в различных положениях, и рассуждают наыворот о своем благоденствии. Я прочитал их политическую экономию и советовал им стоять, как они поставлены, трудиться и не рассуждать. Профессоры политических наук хотели за этот совет побить меня камнем.

Во-вторых, несмотря на гонение со стороны мечтателей, я жил там очень весело. Порядочному человеку денег там иметь не нужно: все забирается в долг, и заимодавцы отдаются под суд, если потребуют уплаты. За обиду, нанесенную должнику домогательством платежа, сажают кредитора на высокую башню и велют ему трубить всю жизнь в банкротский устав. Это делается в противоположность тому, как у нас, на земле, неисправного должника запирают в тюрьму, в подземелья, не позволяют ему пикнуть ни слова и тем понуждают к уплате долгов без всякой отговорки.

Потом случился у меня процесс с одним подземельцем. Мы пошли на суд бить челом вверх-ногами. Секретари головою-вниз и женщины ногами-вверх разобрали нашу жалобу и обещали нам обоим выигрыш. Судьи обернули наше дело вверх дном, рассмотрели его наизнанку, подвели законы наыворот и решили против шерсти. Мы проиграли оба. Я спросил у судей: «Что ж это такое?» Они отвечали: «Это правосудие». Я сказал: «Разве в обратном смысле того, что у нас, на земле, называется правосудием?..» Они сказали: «Да!»

Потом я наблюдал их государственное управление. У них есть две законодательные палаты, которые распоряжаются всем. Одна из них составлена из старых баб, а другая из молодых кокеток: обе занимаются сплетнями и ссорятся между собою и у себя за любовников. Молодые кокетки определяют количество сумм на ежегодные расходы их любовникам и себе на балы и подарки; старые бабы тихомолком подписывают это распределение издержек, а мужья тех и других обязаны вносить деньги беспрекословно. Местные философы вверх-ногами говорят, что это самый дешевый образ управления.

У нас, на земле, повсюду положено правилом определять к местам только умных и способных людей. У них, под землю, существует совсем противный закон, и кажется, был бы для людей гораздо легче к исполнению. Но люди и тут сделали крючок: я часто был свидетелем ужасного ропота в публике по случаю этого закона. Все кричали: «Беспорядок!»

Злоупотребление! Законы не исполняются!..» — «Как так?» — спрашивал я. Мне отвечали: «Вот определили к должности умного человека!.. Теперь все пропало! Он испортит заведенный у нас порядок, по которому очень удобно жилось вверх ногами». Мой приятель философ, пожимая плечами, говаривал мне в подобных случаях печальным голосом: «Что ж делать, любезный друг! Человечество, видно, так уж создано, что, как ни обороти его, все-таки законы не будут исполняться в точности».

Надобно знать, что дураки считаются там умнее умных людей. Там все наыворот!

Однако ж я должен отдать справедливость опрокинутому вверх дном свету, что там совсем нет взяток — и по весьма странной причине: потому, что взятка нет и у нас, на лицевой стороне земли! А поелику у нас нет взяток, следовательно — того, что не существует, никак нельзя оборотить на другую сторону. Я не знал, что взятки суть только поэтическая выдумка сатирических писателей. Начитавшись их сочинений, я хотел завести взятки внутри земного шара и убеждал подземельцев в возможности брать их в потребном случае. Они смеялись надо мною. Я приводил им сочинения знаменитого певца взяточников Ф. В. Булгарина[125], которые знаю наизусть от доски до доски. Они сказали, что это клевета; что этого быть не может, потому что если б судьи наружной поверхности земли брали взятки от сторон, то судьи внутренней ее поверхности должны были бы давать взятки сторонам из своего кармана, — что противно человеческой природе!.. Я принужден был согласиться, что взятка, ни взяточников нет в созданном мире.

Каким образом освещается свет вверх-ногами, есть ли внутри земного шара свое домашнее солнышко или нет, — того не могу сказать. Во все время моего там пребывания была дурная погода.

Однажды шел я спокойно, головою вниз, по тротуару, сложив назад руки, как вдруг несколько человек вверх-ногами схватили их у меня без всякого предварения и взяли меня задом в рекруты. Мне дали ружье, пороху и пуль и повели меня вместе с прочими за границу. Я спросил у одного из моих товарищей:

— Мы идем на войну, что ли?

— Нет, — отвечал он, — мы идем стрелять по нашим приятелям.

— Как же это называется, что мы будем делать с ними? — воскликнул я с удивлением.

Он сказал: «Нон-интервенция».

Я сказал: «А!»

Нон-интервенция?.. Это, без сомнения, немецкое вывороченное слово, — подумал я себе, — и если б отогнуть его назад, то, может быть, выйдет по-нашему — «комедия». У меня тогда не было с собою карандаша, и я не мог разобрать это слово по буквам. Если у вас есть карандаш, то потрудитесь сделать это сами: мне теперь недосуг. Мы пришли к одной большой крепости, начали стрелять, драться, убивать, гибнуть — и овладели ею. Я готов был присягнуть, что мы ведем кровопролитную войну. Но по взятии крепости наши противники подошли к нам, пожали у нас руки и сказали, что после этого они совершенно убеждены в нашей благонамеренности и дружбе. Тогда только я увидел, что мы вели кровопролитный мир. Одним словом, свет вверх-ногами во всем противоположен нашему свету вверх-головою.

Наконец, я женился под землю. Как это случилось, я, право, не знаю: помню только, что подземные бабы сплетничали долго, долго, очень долго, так, что поднялась ужасная туча сплетней, и когда она разразилась, я неожиданно очутился женатым человеком. Мы с женою ссорились с утра до вечера: все завидовали нашему супружескому счастью. По системе

противоположностей я должен был делать капризы, а жена была обязана управлять мною. Она скоро сошла с ума от забот управления и была избрана в члены законодательной палаты. Я опять остался холостым, и так провел остаток своей жизни вверх-ногами. Вот и конец моим сказаниям! Теперь извольте купить себе другую книгу: желаю вам много наслаждаться.

Постойте! Я забыл о самом любопытном приключении моего сентиментального путешествия на Этну. Я расскажу вам его в двух словах.

После двухгодичного пребывания вверх ногами внутри нашей планеты, проведенного в непрерывном странствовании из одной земли в другую, однажды утром пришло мне в голову съездить в гости к первой моей подземной знакомке, губернаторше, через погреб которой прибыл я на тот свет, и вместе повидаться с моим приятелем-философом, которому желал сообщить разные мои замечания. Я сел в повозку и поехал. На третий или на четвертый день пути погода сделалась ненастной, и вдруг поднялся такой сильный ветер, что у меня сорвало шляпу. Я приказал почтальону остановиться, вылез из повозки и побежал ловить шляпу. Едва сделал я несколько шагов, как мои колени зашатались подо мною, и я упал на землю. Я встал и опять пустился бежать, и опять упал. Тогда я только заметил, что земля трясется под моими ногами: сидя в повозке, я не мог этого видеть, потому что тамошние почтовые тележки построены наизуоборот, с передними колесами гораздо выше задних, и совершенно так же тряски, как землетрясение. Когда я повалился в третий раз, вдруг сделался сильный подземный удар, который толкнул меня в бок так жестоко, что я, лежа на земле, прыгнул вверх всем телом, как живая рыба на суше, и упал на другой бок в нескольких шагах от того места. Лошади, испугавшись удара, понеслись по полю во всю прыть. Я остался без шляпы и без повозки.

Приподнявшись с большим трудом, я дополз до плоского, широкого камня, лежавшего подле дороги, и сел на нем. Повозка с лошадьми закатилась за гору и исчезла из виду. За неимением другого занятия, я разинул рот и смотрел, как вихрь, сорвавший мою шляпу с земли, кружил ее в воздухе винтовым движением. Неумолимая судьба, которая поставляла себе в удовольствие притеснять меня при всяком случае, не дозволила мне даже спокойно забавляться невинным зрелищем, представляемым собственно моею шляпою. Почва одним разом треснула под моим камнем, и я в одно мгновение провалился вместе с ним в пропасть, которая в ту же минуту сомкнулась надо мною. Песок засыпал мне глаза.

Я сидел на камне, но чувствовал себя придавленным со всех сторон. Землетрясение продолжалось: я невольно шевелился и подскакивал в могиле. Казалось, будто кто-то, схватив меня за плеча, трясет изо всей силы. Всякую минуту душа едва не выскакивала из тела вон. Я крепко держался за камень.

Но мы с ним не долго оставались на месте. Нас начало ворочать, ломать, метать, перекидывать на большие расстояния в рыхлой внутренности земли, размешанной колебанием, подобно тесту. Скоро были мы брошены в какую-то узкую пустоту, где ветер дул с ужасным воем, тогда как подземные грома страшно катились со всех сторон, подо мною, надо мною, спереди и позади меня. Те, которые во время сильных лихорадочных припадков планеты стоят на ее поверхности, не имеют еще никакого понятия о том, что происходит в ее растерзанном теле. Кто хочет узнать или описывать землетрясение, должен непременно зарыться в недрах земли и потрястись несколько часов вместе с нею.

Как скоро камень, и я на камне, всунулись в узкую пустоту, которую заткнул он собою, как пробкою, я стал дышать свободнее. Я ничему не удивлялся и ни об чем не думал, потому что

думы и удивления гнездятся только в дремучем, сухом мозгу раздражателей Вальтера Скотта [126], а не у человека, которым закупорено горло подземного паропровода. Быть может, следовало бы мне тогда вспомнить, что я погиб безвозвратно; но я и о том не вспомнил, а сидел бесчувственно на камне, поджав ноги и руки, как медный индийский брама на яшмовом пьедестале. Спустя несколько времени в отдаленной глубине подо мною послышался ужасный гром, который быстро возлетал ко мне и кончился сильным снизу ударом в камень, поддерживающий меня в гортани отвесно восходящего подземелья. В то же мгновение камень стал подниматься вверх с чрезвычайною силою и не прежде остановился, как забившись в другую, косвенную пустоту и тем открыв свободный путь подземным парам, которые пролетели мимо меня с страшным ревом, рассыпая громовый грохот по боковым подземельям.

Хотя новая пустота, в которую был я заброшен, казалась обширнее первой и камень лежал на твердом слое минеральной массы, образующей род площадки, но я не осмелился слезть с него, решась разделять его участь. Здесь начал я, однако ж, соображать понемножку свое положение, и едва успел составить себе первое понятие: что я жив, — как опять все мои мысли погасли от внезапного испуга. В известной глубине и прямо подо мною раздался ужасный выстрел, взрыв с треском, сильнее залпа из нескольких сот пушек. Я упал на камень. Менее чем в пять секунд весь слой минерала, с камнем и со мною, был вытолкнут вверх на неизмеримое расстояние, подобно бомбе из ствола мортиры.

Не знаю, каким чудом удержался я на камне — без сомнения, потому, что некуда было свалиться — но то верно, что я не расстался с ним и в эту беспримерную минуту моего существования и лежал на нем брюхом, судорожно уцепясь руками за его края. Как мое лицо было обращено вниз, то я заметил, что мы с ним вылетели из вершины какой-то круглой, уединенной горы, что мы от нее удаляемся и парим вверх по воздуху с неимоверною быстротою. Оцепенение уничтожило во мне чувство опасности: я не понимал, что со мною делается, и смотрел на все равнодушно, как холодное зеркало. Туча черной, пыльной материи вырвалась вместе с нами из того же отверстия. Вслед за нею вспыхнуло желтое, горячее облако серного дыму и через секунду вылетел стрелою огромный, великолепный столб красно-желтого огня.

Мы — я составлял нераздельную часть камня — мы все еще неслись вверх, но уже в косвенном направлении к горе.

Я случайно повернул голову в сторону, и дивное, вовсе неожиданное зрелище представилось моим взорам. На тускло-желтом небе висел большой, красный круг, без лучей и блеска, напоминающий луну или солнце, о существовании которых давно уже я и не думал. В другой стороне, на отдаленном небосклоне рисовалась высокая гора с двурогою вершиною. Прямо подо мною видны были город, селения и море. Голова кружилась; но нельзя было не подумать, что это местоположение несколько мне знакомо. Если б я не помнил, что нахожусь внутри земли и еду в гости к губернаторше, которая поймала меня промеж своего антр-ша, и к философу, с которым подрались мы на печке, я бы сказал, что вижу перед собою Неаполь и Сицилию. Вот было бы странно, если б я, провалившись сквозь землю в Этну, нечаянно был выброшен назад сквозь Везувий?.. Но это уж слишком невероятно!.. Пустое! я этому не верю! Это все свет вверх-ногами...

Я продолжал парить на камне. Он уже был далеко от горящей костром горы, из которой выстрелило нами землетрясение, и описывал по воздуху огромную параболу. Пока он стремился наклонно к небу, я удерживался на нем без труда; но скоро движение его начало изменяться, и я впервые почувствовал опасность. Лишь только принял он решительное направление к земле, и я бегло заметил, что мы уже минуем берег и летим прямо в море, мой спаситель с исполинскою силою вырвался из моих объятий. Мы были расторгнуты и полетели по воздуху уже отдельно друг от друга. Он, как тяжелее меня, по всеобщей физике, понесся быстрее и дальше бухнул в море. Я должен был следовать за ним издали и

продолжал падение, кувыркаясь в воздухе, подобно лоскутку бумаги, и описывая головою бесконечную винтовую линию. Города, рощи, селения, озера, холмы, зажженные вулканы и рдеющие пожарным заревом моря ворочались вместе со мною: я видел их пляшущими на небе, в воздухе и на земле. Странная эта игра света была последнею потехою, дарованною его лучами моим вскруженным взорам, которые горькая морская вода скоро должна была потушить навсегда. В моем уме оставались только два понятия - смерть и море, которые тоже вертелись коловратом в мозгу, образуя в нем яркое, радужное, искристое колесо, согнутое как бы из широкой огненной ленты. Однако ж, приближаясь к земле, я успел завидеть, что падаю на сушу, почти на самое взморье, по которому пролегалка каменная дорога, вымощенная черною плитою. Но что пользы!.. Я тут расплюснулся, как куриное яйцо: уж лучше было нырнуть в воду!.. При виде мостовой в нескольких только от меня саженьях со страху жизнь мгновенно испарилась из меня сквозь все поры моего тела, подобно воде, брызнутой на раскаленный камень; но в ту самую минуту, как, перекувыркнувшись в последний раз, валился я уже на землю, что-то нечаянно подсунулось под меня, и я упал в него задом, как в корб.

Это была коляска, мчавшаяся во весь опор. В ней сидели две особы, дама и мужчина. Я упал прямо на мужчину, которого вдруг раздавил своею тяжестью, и сам остался невредимым. Это часто случается в больших падениях.

Все это совершилось так мгновенно, что ни я не успел сообразить, что убил проезжего, ни он догадаться, что разможен слетевшим с неба человеческим задом. Только, в минуту происшествия, мне показалось, как будто кто-то гневно проворчал подо мною:

«Год-дем...»[127] * Дама кричала. «Ах!.. Ах!!..» — Лошади неслись еще быстрее. Кучер отчаянно ревел: «Пррррррр!..» — Я, сидя на высокой, мягкой куче, должен был ухватиться за край экипажа, чтоб не вывалиться из него на землю. Не прежде как пронесшись полверсты разгадал я свое положение: узнал, что еду в коляске, на почтовых, увидел под собою две толстые мужские ноги и вспомнил о произнесенном подо мною великобританском восклицании. «Странное дело! — подумал я в изумлении, — неужто я безвинно раздавил благородного лорда?..» — Я хотел объяснитьсь с дамою, но она кричала во все горло и отворачивалась от меня, как от черта. Я хотел усесться удобнее, но толстые ноги почивавшего подо мною путешественника мешали мне избрать приличное положение. Видя, что меня предоставляют самому себе и что при первом ударе колес о камень могу быть выронен на мостовую, я воспылал нетерпением: приподнялся, опираясь левою рукою о заднюю стенку, засунул правую руку под себя, вытащил за воротник своего усопшего предшественника, жирного, короткого, боченковатого, выкинул его из коляски и сам занял его место.

Лошади мчались стрелою, кучер бранил их по-итальянски, я сидел и удивлялся. Многие обстоятельства внушали мне мысль, что я где-то в Италии, но мне все еще не хотелось верить своим впечатлениям. Я был уверен, что нахожусь внутри земного шара и еду вверх ногами. Слова, которые я слышал, легко могли быть татарские или калмыцкие, но, быв произносимы наизусть, казаться мне итальянскими.

Наконец кучер удержал лошадей, и дама перестала кричать, дрожа только от сильного испуга. Я подождал еще несколько минут, пока она совершенно успокоится, и тогда, желая вступить в разговор с нею на правилах подземной учтивости, ущипнул ее, по Эмпедоклу, за ляжку.

— Милостивый государь! — вскричала она по-итальянски — а может статья, и по-татарски! — отодвигаясь от меня подальше, — вы уж слишком много позволяете себе в чужой коляске.

Я смутился и не знал, что отвечать. Суцая беда с этими дамами дном-к-свету!.. Никак не угадаешь, что может им понравиться. Я так вежливо к ней адресуюсь, а она сердится, как

змея!..

Я, однако ж, заметил, что после этого вступления к знакомству моя спутница, закрытая белою кисейною вуалью, тайно бросает на меня взгляды и, видя, что я не похож на черта, хотя замаран сажею, начинает поправлять свое платье. Эти вывороченные дамы в одно мгновение ока из страшного гнева переходят в самое, благосклонное расположение сердца!.. Врожденные ее полу любезность и желание нравиться даже черту, а за его отсутствием и трубочисту — меня легко можно было принять за последнего — преодолели в ней все прочие чувства. Она уже не отворачивалась. Я счел это время удобным, чтоб ей отрекомендоваться.

— Я желал, сударыня, — сказал я робко и умильно, — я желал извиниться перед вами, что имел несчастье раздавить в этой коляске... этого... этого... этого англичанина.

— Нужды нет! — отвечала она равнодушно, но без сердца, легонько кланяясь мне бочком. — Прошу не беспокоиться!

— Может статься, моим падением я помял почтенного вашего супруга?..

— Все равно!.. Оно почти не стоит того, чтоб говорить!

— Я не знаю, как оправдать мою неловкость...

— Ах, прошу, не женируйтесь[128] из-за такой безделицы!

Разговор пресекся. Ее ответы удостоверили меня, что я в самом деле нахожусь в таком свете, где все идет вверх ногами, и только напрасно ласкал себя мыслию, будто я выброшен оттуда на лицевую сторону земного шара. «Какая противоположность в понятиях! — подумал я.— Так ли жена или любовница у нас, на нашей блаженной подсолнечной поверхности, отвечала бы после истолчения ее друга чужим задом, изверженным огнедышущей горюю!..»

Мне непременно хотелось сблизиться с моею спутницею. Чтоб пленить ее на первом шагу своей любезностью, по Эмпедоклу, следовало начать ссориться с нею; но я не мог придумать никакого повода к ссоре. Я увидел, что она вертится, хочет о чем-то спросить и не знает, с чего начать: она очевидно терзалась любопытством узнать, каким случаем попался я к ней в коляску и откуда. «Вот хороший повод к ссоре! — подумал я. — Моя наружность не противна ее взорам: я мигом понравлюсь и ее уму». — Итак, я надулся и сказал твердым голосом:

— Сударыня, я не скажу вам, ни каким чудом упал я в вашу коляску, ни кем заронен сюда, ни почему так страшно замаран!

— Ах, сделайте одолжение, скажите!.. — воскликнула она, быстро поворачиваясь ко мне. — У меня ум из головы вон. Я не постигаю, что такое это значит...

— Не скажу!.. Ей-ей, не скажу!..

— Сделайте мне это удовольствие.

— Хоть бы вы меня убили, не скажу!

— Но когда я прошу вас так усиленно?..

— Все равно, сударыня! Скорее умру на месте, чем соглашусь удовлетворить ваше любопытство.

— Заклинаю вас, не мучьте меня! Я умру, если не узнаю этой тайны.

— Умирайте; не скажу — хотя это очень, очень любопытно!

— Ах, какие вы жестокие!.. Итак, я отношусь с просьбою не к вам, но к вежливости благородно воспитанного мужчины. Надеюсь, что после этого воззвания вы не откажете даме в ее... — сказала она приятным голосом, который внезапно пресекла, чтобы, как будто ненарочно, откинуть вуаль, чтоб обнаружить моим взорам свежее, молодое, небесное лицо, озаренное лучами пламенной души и блистательною игрою радужной улыбки, сияющее ими подобно хрустальной люстре с ярким огненным венцом, из которого сыплются крупные капли света на прозрачные цепи и сквозь их алмазную сетку освещают веселье любви и счастья. Я потерял ум и глаза и в расстройстве, недоумении, в одно и то же время, произнес два совсем различные восклицания — одно мысленно, раздавшееся в целом пространстве моей души: «Ах, какая красавица!.. Такой прелестной женщины не видал я никогда в жизни!..», — другое словесно, которое ударило в тимпан[129] ее беленького, прозрачного уха и потрясло ее как бы электрическою искрою: «Мое почтение, синьора баронесса Брамбеус!..»

— Вы меня знаете? — спросила изумленная дама, услышав свое имя.

— Как не знать! — воскликнул я. — Я, кажется, имел счастье быть коротко знакомым с вами.

— Ваше лицо мне не чуждо, — сказала она с беспокойством и с некоторым напряжением любезности, — но я никак не вспомню, где мы виделись с вами. В путешествиях столько иногда приходится завести коротких знакомств, что потом...

— Да я синьор барон Брамбеус! — вскричал я, прерывая вежливое оправдание. — Я все тот же Брамбеус, к вашим услугам! Как же вы меня не узнали?..

Дама мигом закинула вуаль на лицо и оборотилась ко мне спиною.

Я замолчал, и она не сказала ни слова. Мы проехали тихомолком целую милю. Я не слишком был доволен сделанным мне приемом и наравне с моею спутницею поражен странностью нашей встречи. Наконец, я припомнил, что надобно, однако ж, иногда говорить с женою, сидя в одной с нею коляске, и сказал:

— Не пугайтесь меня, сударыня: ведь я ваш супруг!

— Я думала, что вы черт! — отвечала она, не переменяя положения. — Вы такой замаранный!..

— Потому, что прибыл сюда прямо из пасти волкана, — возразил я. — Скажите мне, где мы? Как называются эта огнедышущая гора, этот город?.. Куда мы едем!

— Вот прекрасно!.. — воскликнула она, — вы уже не знаете, где находитесь!.. Слава богу, это Италия! Вот Везувий, а там далее Неаполь. Я еду в Рим.

— Надеюсь, что вы позволите мне сопутствовать вам туда? — спросил я.

— Как вам угодно! — сказала она холодно, но я видел, проникал ее досаду. Я помешал ей своим неожиданным появлением, втерся к ней в коляску без надлежащего предварения — она не могла быть мне за то благодарною. Она с беспокойством искала в своем уме средства к обращению всей вины на одного меня и как скоро нашла его, тотчас ударила на меня всеми силами своего красноречия.

— Вы, сударь, бросили меня в Сицилии без всякого повода! Вы уехали бог знает куда! Вы обо мне забыли и даже не написали ко мне ни одного разу... Это ужасно!

— Вы легко извините меня, — возразил я, — когда узнаете о моих несчастиях. Я упал в Этну; провалился сквозь землю, на тот свет, где люди ходят головою вниз и все дела текут вверх

ногами; считал себя погибшим и никогда не увидел бы ни солнца, ни вас, если б ветер не сорвал с меня шляпы. Благодаря этому случаю, я был пожран землею и теперь случайно выброшен назад сквозь жерло Везувия. Я не виноват, что из того света нет письменной почты в Мессину.

Моя жена расхохоталась. Она подняла вуаль и быстро повернулась ко мне, как на винте.

— Вы шутите надо мною?.. — воскликнула она.

— Право, не шучу!

— Так вы помешанный!.. Вы помешанный, любезный барон!.. Вы решительно помешанный!..

Она начала плакать, плакала сердечно и говорила, рыдая:

— Вот как эти изменники поступают с бедными беззащитными женщинами!.. Он оставляет чувствительную, нежную, обожающую его супругу, гоняется повсюду за миленькими глазками, которые свели его с ума, и, повстречавшись с женою, отделяется бессмыслицами; а я, несчастная, я два года и семь месяцев утопаю в слезах, не сплю, не ем, не вижу дневного света!.. (хлип, хлип, хлип, хлип!)... выжидаю его днем и ночью!.. (хлип, хлип, хлип!)... молюсь об его обращении на путь добродетели!.. (хлип, хлип!)...

Я не выдержал и сам расхлипался по ее примеру. У меня — знаете! — сердце русское, дворянское, мягкое, как кисель. Я нежно обнял мою баронессу рукою, стал называть ее своею бедною доброю, верною Ренцовеною, Ренцовенушкою, Рынею, душою, душенькою, кошечкой, голубушкою... Мы были очень нежны и растроганы. Вдруг пришло мне в голову одно обстоятельство. Я спросил:

— Кстати, мой друг бесценный, что делал здесь этот англичанин?

— Какой англичанин?

— Тот англичанин, лорд, которого место занял я подле тебя?

— О каком говоришь ты лорде?

— Ну, о том, которого раздавил я в этой коляске... которого душа, выжатая мною из жиру, провизжала подо мною:

Год-дем!.. Словом, тот, который ехал с тобою из Неаполя в Рим?

— Нет, мой друг, — возразила она спокойно, сострадательным голосом, — ты уж точно сумасшедший!.. Какие грезятся тебе англичане?.. Здесь никого не было! Я ехала одна.

— Помилуй, душенька?.. Когда я сам, собственною рукою, выкинул его из коляски?..

— Тебе так показалось, мой друг!

— Ах, боже мой, душенька!.. Я так уверен в том, что раздавил его и потом выкинул из-под себя вон за неудобством ехать почтою на лорде, как в собственном своем баронстве, как в существовании двух рыб, трех стрел, одного медведя и пары оленьих рогов в моем гербе...

— Поверь мне, любезный друг, что это тебе привиделось. Ты упал свысока, а тем, которые летают по воздуху, всегда видятся небывалые вещи.

Этим она меня образумила. Почему знать? — может статься тем, которые из жерла огнедышащих гор падают нечаянно в коляски или в комнаты к своим женам, всегда так кажется, будто они раздавили при них чужого человека. На свете есть столько дивных

оптических обманов, что те, которые хотят смотреть на вещи настоящим образом, никогда не должны бы употреблять к тому глаз. Если в пустынях Аравии раскаленный солнцем воздух в состоянии представлять взорам обманчивые картины городов, рощ, замков, озер, верблюдов и других скотов, то что мудреного итальянским парам вылить из тумана подобие толстого и короткого лорда? Надо много путешествовать, чтоб выучиться великому искусству — не удивляться ничему на свете и ничего не считать невозможным. Я согласился с баронессою, что это был оптический обман, что, вероятно, своим падением раздавил я английскую дорожную подушку, надутую воздухом, которая пискнула подо мною, а я, действием волканизма на мои глаза, уши и воображение, принял ее за англичанина и писк ее за английскую брань. Моя жена быстро примолвила, что в самом деле, точно такая подушка пропала у нее из коляски: вероятно, я ее выкинул!..

Итак, это дело было очищено. Мы поехали в Рим. Я не упоминал более об англичанине, и моя жена была чрезвычайно любезна со мною. Но я также не рассказывал ей ничего и о вывороченном свете, чтобы она не имела причины называть меня сумасшедшим. В Риме мы прожили...

Однако ж, господа, воля ваша! Вы, может статься, будете из учтивости защищать мнение баронессы, а мне все-таки кажется — я и сегодня готов побожиться перед вами, что я действительно раздавил англичанина. Я так убежден в этом, это понятие так крепко впилося в мою голову, что лишь только присяду, мне так и слышится - вот хоть и нынче, куря сигарку и пища эти строки! — что кто-то сердито ворчит подо мною:

Год-дем!..

Мы прожили в Риме несколько недель, и очень весело. Красота моей жены приводила в восторг оба мира, светский и духовный. Мы получали всякой день кучу красивых визитных билетов. Если б захотел, я мог бы через жену получить столько же индальгенций[130]. Я приметил, что она уже не ревновала ко мне.

Однажды после завтрака сказал я жене:

— Любезная Ренцывенушка! хочешь ли прогуляться со мною?

— Куда?.. по церквам?

— Нет! Вот здесь, по потолку.

Она выпучила на меня свои большие, пылкие, прекрасные глаза, Я уверял ее, что нет ничего приятнее ходьбы вверх ногами. Она смеялась и называла меня шутком, угорелым, безумным. Чтоб убедить ее в истине моих слов, я поставил на столе столик, на столике стул, на стуле ящик; взобрался на эту пирамиду, оперся руками на ящике, лягнул задом вверх и, благополучно достав потолка ногами, пошел разгуливать по нем, как муха, головою вниз. Моя жена сперва кричала, что я упаду, сверну себе шею, раздроблюсь в куски; но, видя твердую мою походку, принуждена была признаться, что это очень забавно, очень весело, и начала хохотать от всего сердца. Я просил ее воспользоваться моим примером и погулять со мною вверх ногами. Она отказалась. Я стал просить ее еще убедительнее, доказывать, что в делах этого рода нужна только решимость; увещевал, заклинал, молил. Моя жена рассердилась, побранила меня очень резко и сказала, что она не хочет, не будет и не будет ходить по-моему, что я хожу, как дурак, как сорванец, и что она ходит, как все ходят.

Будьте же сами моим судьей и скажите: кто из нас виноват? Вы согласитесь, что ежели моя жена ходит так, как все ходят, то единственно по духу противоречия!..

Мы поссорились с нею ужасно «на сем основании».

Это, однако ж, нисколько не помешало моим удовольствиям. Всякий день после завтрака я хаживал гулять полчаса по потолку, для здоровья. Моя жена уходила в это время с своими знакомцами прогуливаться по церквам, как делают все порядочные люди в Риме. Я не препятствовал ей в этом развлечении, потому что это также род гулянья вверх ногами.

В одно утро, когда важно расхаживал я по потолку, сложив назад руки, толпа сбиров[131] невзначай вторгнулась в мою квартиру. Они поймали меня за голову, стащили на пол, бросили в закрытую повозку и отвезли в какое-то подземелье. Меня душили в нем с лишком три недели. Некто патер Оливиери, толстый и угрюмый монах, допрашивал меня неоднократно; но я никак не мог добиться, в чем состоит дело.

Однажды случайно растолковался я с тюремщиком, приносившим мне скудную пищу, и тот объяснил мне всю тайну. Я был заключен в темницах di Sant Uffizio, тайной инквизиции, по обвинении женою в чернокнижии и преступных связях с дьяволом, нечистою силою которого мог я держаться на потолке ногами и ходить по нем головою вниз. Болтливый тюремщик рассказал мне, что я уже признан колдуном по суду и, вероятно, скоро буду казнен. Я желал узнать род моей казни, и он отвечал, что по закону за чернокнижие я должен быть сожжен публично; но как этот род наказания обесславлен криком нечестивых философов, то я без сомнения буду колесован или удушен в темнице, без огласки, на небольшой, но весьма уютной машине, которую, по своей вежливости, обещал он показать мне завтра. Я затрепетал. Присмотрев мое волнение, тюремщик хотел меня несколько ободрить и сказал, чтоб я преждевременно не беспокоился насчет рода казни: он почти может ручаться головою, что терзать меня не станут, а затиснут мне горло на этой уютной машинке, потому что, как он слышал, неаполитанская миссия, почитая меня вулканическим произведением, извергнутым пастью Везувия, доказывает, что я составляю неотъемлемую собственность Королевства обеих Сицилий[132], и требует выдачи в целости моей кожи, чтобы набить ее соломой и поставить в Везувийском музее.

Прекрасное утешение!..

Как скоро ушел тюремщик, я облился слезами и плакал всю ночь, горько сожалея о том, что напрасно пошел ловить шляпу и оставил свет вверх-ногами. Здесь я сидел в тюрьме у суеверных инквизиторов, которые собирались жарить меня на огне за колдовство, а там, вследствие системы противоположности, без сомнения, сам я, по Эмпедоклу, жарил бы их палками за невежество. На другой день мелькнула в моей голове светлая мысль: нельзя ли как-нибудь ускользнуть отсюда внутрь земли, туда, где откровенно ходят вверх ногами и делают все наизусть без всякого лицемерства?.. Право, там гораздо лучше!.. Это намерение пролило в мое сердце некоторую отраду.

С нетерпением ожидал я ночи, чтоб начать свой дерзкий опыт прорваться сквозь скорлупу шара планеты и уйти от инквизиции под землю. Но к вечеру вошло в мою темницу какое-то таинственное лицо, которое, усевшись против меня, начало речь увещанием, чтоб я отрекся от сношений с нечистою силою, а окончило объявлением, что я могу еще быть спасен, ежели формальным документом откажусь вместе и от моей баронессы. Я охотно подписал бумагу. Спустя несколько дней я был выпущен из подземелья. При выходе моем из тюрьмы вручили мне разводную с женою и взяли с меня подписку, что я немедленно оставлю Италию, на пути нигде не буду гулять по потолкам и не ближе начну ходить вверх ногами, как приехав во Францию.

Примечания

1

Тексты повестей сверены по первым публикациям и печатаются в соответствии с современными нормами правописания. В некоторых случаях сохранены орфографические и синтаксические архаизмы, отражающие разговорный и литературный язык эпохи, а также индивидуальную манеру Сенковского-Брамбеуса.

Впервые: отд. изд. Спб., 1833. Имели широкий читательский успех и неоднократно переиздавались при жизни автора. Третья повесть - «Ученое путешествие на Медвежий остров» — вошла в состав сборника «Взгляд сквозь столетия (Русская фантастика XVIII и первой половины XIX в.)». — М.: Мол. гвардия, 1977. - С. 130-214. В настоящем издании частично использован комментарий (В. Гуминского) к этой публикации.

2

Эпиграф представляет собой переделку пословицы «У всякого барана своя фантазия».

3

Сплин — хандра, тоскливое настроение.

4

Эпиграф — из письма, приписанного маркизу Лондондерри (Кастльри Генри Роберту Стюарту) (1769 —1822), министру иностранных дел Великобритании. Готовясь к участию в Веронском конгрессе (1822), маркиз Лондондерри заболел психическим расстройством и в припадке мании преследования перерезал себе горло перочинным ножом. Действительно, существовала переписка маркиза Лондондерри, часть которой была издана в Лондоне в 1848—1853 гг.; большая же часть его переписки погибла во время кораблекрушения.

5

Жизнь и переписка маркиза Лондондерри (анг.).

6

...великолепное объявление А. Ф. Смирдина о новом журнале... — Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — издатель и книгопродавец; новый журнал — «Библиотека для чтения», первый номер которой вышел в свет 1 января 1834 г.; великолепное объявление — имеется в виду объявление об этом журнале, появившееся в печати в 1833 г.

7

...слоем острых, шероховатых, засаленных местоимений сей и оный... — По замечанию Н. В. Гоголя, Сенковский «завязал целое дело о двух местоимениях: сей и оный»: он неоднократно высмеивал употребление этих устаревших местоимений и написал даже статью «Резолюция на челобитную сего, оного, такового, коего, поелику, якобы и других, причастных к оной челобитной, по делу об изгнании оных, без суда и следствия, из русского языка» (Библиотека для чтения. — 1835. — Т.8. — Отд.6. — С.26-34).

8

Повытчик — служитель канцелярии, должностное лицо, ведавшее делопроизводством в суде Русского государства.

9

...как Александр Великий презрел наглость скифов. — Имеется в виду эпизод из истории Александра Македонского (356—323 до н.э.), когда, во время среднеазиатского похода (330 г. до н.э.), расправившись с восставшими согдийцами, полководец не выступил против живших поблизости скифов, а предпочел отправиться в Индию.

10

Кенкет — комнатная лампа, в которой горелка устроена ниже масляного уровня.

11

Стерн Лоренс (1713—1768) — английский писатель.

12

...соответственно восьми классам табели о рангах... — «Табель о рангах» — документ, введенный Петром I в 1722г. и разделивший все должности военной и гражданской службы на 14 рангов или классов. Далее указываются следующие классы: 14-й класс — коллежский регистратор; 12-й класс — губернский секретарь (поручик); 10-й класс — коллежский секретарь (штабс-капитан); 9-й класс — титулярный советник (капитан); 8-й класс — коллежский асессор (майор).

13

...человек есть простое двуножное животное без перьев... — Ср. определение Платона (427 — 347 до н. э): «Человек — существо бескрылое, двуногое, с плоскими ногтями; единственное из существ, восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях»

14

Дивоншир (Девоншир) — род английских герцогов, ведущий свое начало с IX в.

15

Голконда — местность в Британской Индии, некогда столица, славившаяся знаменитыми гранильнями алмазов.

16

Фивская Мемнонова статуя — одна из двух каменных фигур сидящего фараона Аменхотепа III (1408—1372 до н.э.) у входа в храм Амона в Фивах (Египет); издавала на рассвете странные стонущие звуки, которые древние отождествляли с голосом Мемнона (сына богини

утренней зари Эос) (подробнее см. в книге Н.А.Рубакина «Среди тайн и чудес»).

17

Гелиопольский обелиск.— Имеются в виду развалины храма в древнем сирийском городе Гелиополе (ныне Баальбек).

18

Шаро — вероятно, от французского слова charogne — падаль, тухлятина.

19

Имеется в виду один из братьев Гумбольдт — Вильгельм или Александр — немецкие ученые, путешественники и государственные деятели.

20

Торопецкий уезд — в Псковской губернии.

21

Александровская колонна — памятник Александру I, гранитная колонна на Дворцовой площади в Петербурге, представляющая собой цельный монолит. Во время создания «Фантастических путешествий...» она еще возводилась (открыта в 1834г.).

22

Эпиграф — начало стихотворения Н. М. Языкова «Элегия» (1825).

23

Титулярный советник — чин 9-го класса; коллежский советник — чин 6-го класса (полковник); статский советник — чин 5-го класса; действительный статский советник — чин 4-го класса (генерал-майор).

24

...как скоро сделаюсь я превосходительным... — чин действительного статского советника предполагал обращение «ваше превосходительство».

25

Антонов огонь — гангрена.

26

Ферязь — старинная русская одежда.

27

...на отечество стряпчих и повытчиков... — Стряпчий — чиновник по судебному надзору; Повытчик — служитель канцелярии, должностное лицо, ведавшее делопроизводством в суде Русского государства.

28

Хочу упиться поэзию подьячества. — Подьячий — писец и делопроизводитель в приказной канцелярии в допетровской России.

29

...кроме арбузов, блох и клопов, которых можно найти и в Монастырке. — «Монастырка» (1830—1833) — роман русского писателя Антония Погорельского (Алексей Алексеевич Перовский, 1787—1836). В романе даются психологически верно схваченные картины жизни

Малороссии (Украины).

30

...в благовоном облаке дыма тюмбеки... — Тюмбека — сорт турецкого табака.

31

...русский банкротский устав... — Имеется в виду порядок установления и признания несостоятельности в уплате долгов и платежей.

32

Фирман — указ султана, шаха.

33

Стамбулка — трубка.

34

...Махмуд величайший человек в мире... — Махмуд II (1785—1839) — турецкий султан, пытавшийся ввести реформы в европейском духе; в 1826 г. уничтожил янычарское войско.

35

Фанар — греческий квартал в старой части Константинополя, на берегу Золотого Рога, получивший свое название от находившегося поблизости маяка.

36

Бостанджи-баши — начальник полиции в Стамбуле.

37

Тандур — светский салон.

38

Алкоран (Коран) — священная книга магометан, источник мусульманского богословия и юриспруденции.

39

Сю Эжен (Евгений) (1804 — 1857) — французский беллетрист; в 30-е гг. автор увлекательных рассказов из морского быта.

40

Шкипер — капитан судна в торговом флоте.

41

Царьградский пролив — Босфор.

42

...знаменитее баснословного Рустема... — Рустем — легендарный богатырь, защитник Ирана, которому посвящена значительная часть поэмы Фирдоуси «Шах-наме».

43

Эфенди — в Турции: господин, сударь.

44

Драгоман — переводчик при европейских миссиях и консульствах на Востоке.

45

Мерлушка — мех, выделанная шкурка ягненка грубошерстной породы овец.

46

Пероты — жители Перы, части Константинополя, населенной преимущественно европейцами.

47

Кондогуни — словообразование Сенковского — от лат. *conde* (изящный) и русск. диалектного гуни (тряпье, обноски).

48

...восточного словаря Менинского... — имеется в виду «Словарь арабско-персидско-турецкий», составленный чешским просветителем Франтишеком Менински (1628—1698).

49

Надворные и беспорочные... — Надворный советник — чин 7-го класса (подполковник).

50

«Церковь Парижской богородицы» — имеется в виду роман В.Гюго «Собор Парижской богородицы» (1831).

51

Диван — совет министров (везиров).

52

Галата — предместье Константинополя, средоточие торговли.

53

В раннем творчестве Бальзака (1799—1850) Сенковский видит элементы натурализма.

54

Аршин примерно равен 72 см.

55

Ага — в Турции: низший чиновник.

56

Ярлык — государственный документ.

57

Бура — натриевая соль борной кислоты, употребляемая в медицине.

Нотабена (от лат. nota bene — заметь хорошо) — отметка в тексте книги или документа возле того места, на которое следует обратить особое внимание.

Эпиграфы к повести — вымышленны.

Кювье Жорж (1769—1832) — французский естествоиспытатель, занимавшийся реконструкцией ископаемых форм животного мира. Концепция Кювье, в которой доказывалась закономерность катастрофических изменений в природе, — один из адресатов иронии Сенковского.

Мастодонт — огромное вымершее животное, близкое к слону.

Геттингенский университет — один из популярнейших в Германии (основан в 1737г.).

...мегалосаурами, плезиосаурами, мегалотерионами... — термины палеонтологии, обозначающие ископаемых животных.

...в одном Париже было их четыре!.. — количество «потопов» было подсчитано соратником Кювье А.Броньяром.

Обербергпробирмейстер — горный мастер (нем.).

65

Шампольон Младший Жан Франсуа (1790—1830) — французский ученый, основатель египтологии, открывший основные принципы дешифровки иероглифического письма древних египтян. В 30-е гг. его открытие (сделанное в 1822г.) подвергалось пересмотру и критике, и лишь впоследствии была доказана справедливость основных его положений. Сенковский, скептически относящийся к открытию Шампольона, иронизирует над ним.

66

Гулянов Иван Александрович (1789—1841) — русский египтолог, автор книги «Археографические опыты» (1826), в которой оспаривал концепцию Шампольона.

67

Египетский мост — металлический цепной мост через Фонтанку (существовал с 1826 по 1905 г.); чугунные ворота моста были обильно орнаментированы иероглифами в псевдоклассическом стиле.

68

Берд К. И.— промышленник, владелец крупнейшего чугунолитейного завода в Петербурге.

69

Паллас Петр Симон (1741—1811) и Гмелин Иоганн (1709—1755) — естествоиспытатели, члены Академии наук, знаменитые путешественники по России.

70

Pallas Reise, т. II, р. 108. (прим.автора)

71

Reineggs, Reise, p. 218. (прим.автора)

72

Origines Russes, extraits de divers manuscrits orientaux, par Hammer, p. 56.- Memoriae populorum, p. 317. (прим.автора)

73

Клапрот Генрих Юлий (1783—1835) — ориенталист, и путешественник; в 1823 г. выпустил на немецком языке книгу о Сибири с копиями надписей на скалах.

74

Klaproth, Abhandlungen Эber die Sprache und Schrift der Uiguren, p. 72. См. также: Описание Джунгарии и Монголии, о. Иакинфа. (прим.автора)

75

О. Иакинф — Бичурин Никита Яковлевич (1777—1853) — русский китаевед, член-корреспондент Академии наук.

Плана Карпини Джованни де (1182—1252) — монахфранцисканец, путешественник. Все высказывания названных ученых и путешественников о «Писанной комнате» — выдумка Сенковского.

76

Оселок — здесь: камень для испытания драгоценных металлов.

77

Да это иероглифы!.. — Идея о том, что наскальные изображения Сибири представляют собой египетские иероглифы, выдвигалась еще в 1730 г. шведским ученым И.-Ф.Страленбергом.

78

Ученый (нем.)

79

Шейхцер Иоганн Якоб (1672—1733) — немецкий естествоиспытатель; в 1700г. обнаружил скелет ископаемой саламандры, который принял за скелет человека.

80

...могущественной Барабии... — имя фантастической страны произведено от названия Барабинской степи (местность между Иртышом и Обью).

81

Клок — женский плащ без рукавов.

82

Предваряю, однажды, навсегда, что объяснения имен собственных, заключенные в скобках, прибавлены к моему переводу доктором Шпурцманном: они, без сомнения, весьма основательны, но я не диктовал их ему. (прим. автора)

83

Палеотерион (палеотерий) — вымершее непарнокопытное животное, близкое к древнейшей лошади.

84

Гом Генри (1696—1782) — шотландский моралист и эстетик;

Букланд (Буклэнд) Вильям (1784—1856) — английский геолог, автор трудов, посвященных древним окаменелостям;

Броньяр Александр (1770—1847) — французский геолог;

Гумбольдт Александр (1769—1859) — немецкий ученый-натуралист и путешественник.

85

Прибавление Шпурцманна. (прим. автора)

86

Тоже пояснение Шпурцманна. (прим. автора)

87

Астролябия — угломерный прибор, служивший в XVIII в. для определения долгот и широт.

88

Капище — культовое сооружение у язычников.

89

Птеродактиль — род вымершего летающего ящера.

90

Пояснение доктора Шпурцманна. (прим. автора)

91

Аноплотериум, *anoplotherium gracile* – род предпотопной газели, из которой жаркое, с испанским соусом и солеными сибирскими бананами, по мнению ученого Шлотгейма, должно было быть очень вкусно. – Примечание доктора Шпирцманна. (прим. автора)

92

...столчены в иготи... — Иготь — ручная ступка.

93

Теки, сикоморы... — названия древесных растений.

94

Тапиры — животные отряда парнокопытных.

95

Объяснение, данное сочинителем этой надписи касательно причины пожара в воздухе, весьма основательно. Из всего явствует, что предпотопный воздух был составлен из газов, неизвестных в нынешнем воздухе, и что в нем не было кислотвора; или если и был кислотвор, то в другой пропорции. Я теперь знаю, из чего он был составлен, и издам о том диссертацию. Кстати: написать из Якутска в Геттингенский университет об ученых заслугах гофрата Шимшика, знаменитого предпотопного химика и астронома, и предложить, чтоб его бюст был поставлен в университетской библиотеке. – Приписка на поле рукою доктора Шпурцманна. (прим. автора)

Кислотвор — уст.: кислород.

Гофрат - здесь: коллега (нем.).

96

Пояснение доктора Шпурцманна. (прим. автора)

97

Строки, наполненные точками, означают те места надписи, которые время совсем почти изгладило и где никак нельзя было разобрать иероглифов. – Примечание доктора Шпурцманна. (прим. автора)

98

...две дести бумаги... — Дестъ — единица счета писчей бумаги (44 листа).

99

Толмачев Яков Васильевич — автор «Правил словесности» (ч.I-IV. Спб., 1822).

100

Пожалуй! (нем.)

101

Ученый (нем.)

102

Сталагмиты — натечные известковые образования, поднимающиеся вверх со дна пещеры в виде больших сосулек.

103

Гайленд и Гилль — исследователи, вероятно, выдуманные автором.

104

О да!!! (нем.)

105

«Чем тебя я огорчила?..» — начало известной песни на слова А.П.Сумарокова.

106

Эпиграф — из лубочной книги «История о храбром рыцаре Франциске Венецияне и прекрасной королеве Ренцивене», обработанной А.Филипповым (1787).

107

Катана — столица Катании, провинции в Сицилии; расположена на берегу моря, близ Этны.

108

...потомки Брута и Катана надували нашего графа ***ова... — Брут Децим Юний (84—43 до н. э.) и Катон Марк Порций (95—46 до н.э.) — герои римской истории, славные своей неподкупностью. Граф ***ов — вероятно, граф Румянцев Николай Петрович (1754—1826) — государственный деятель, собиратель книг и редкостей, основатель Румянцевского музея в Москве.

109

Мессина — город на о.Сицилия.

110

Скорию — от ит. scoria — шлак, окалина, кусочки застывшей лавы.

111

Гроденапль — плотная шелковая материя.

112

Новгородская республика — имеется в виду Новгород Великий, область Древней Руси с самостоятельным вечевым управлением (до 1478г.).

113

Карбонари — член тайного политического общества в Италии, принимавшего участие в восстаниях 1820-х — 1830-х гг.

114

...надобно прибегнуть к пособию «Умозрительной физики» г. академика В***... — Имеется в виду сочинение философа-шеллингинца Велланского Данилы Михайловича (1774—1847) «Опытная, наблюдательная и умозрительная физика» (Спб., 1831), подвергшееся насмешкам Сенковского.

115

Зри «Умозр. физику», стр. 649, 651 и многие другие. (прим. автора)

116

Пуд — старая русская мера веса, равная 16,38 кг.

117

Фунт — старая русская мера веса, равная 409,5 г.

118

Кадриль — танец из шести фигур, с четным количеством танцующих пар, которые располагаются одна против другой.

119

...всегда танцуем по Кеплеру и Ньютону... — т. е. по обычным законам физики, открытым Кеплером Иоганном (1571 —1630) и Ньютоном Исааком (1643—1727).

120

Котильон — старинный танец — кадриль, фигуры которой перемежаются вальсом, полькой и другими танцами.

121

Не были ли вы там знакомы с Пифагором или с Эмпедоклом? — Пифагор (ок. 580—500 до н.э.) и Эмпедокл (ок. 490—430 до н.э.) — греческие философы, жившие в Италии. По преданию, Эмпедокл бросился в кратер Этны, оставив на его краю свою сандалию.

122

...стоит только провалиться в Этну, чтоб понимать язык Канта, Фихте, Шеллинга... — Сенковский иронизирует над «заумным» языком немецкой классической философии.

123

Далай-лама — первосвященник ламаистской церкви в Тибете.

124

Аматер — уст.: любитель.

125

...сочинения знаменитого певца взяточников Ф.В.Булгарина... — Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — русский журналист и писатель; в его романах «Иван Выжигин» (1829) и «Петр Иванович Выжигин» (1831) часто встречаются фигуры взяточников и карьеристов.

126

Скотт Вальтер (1771 — 1832) — английский писатель, автор многочисленных исторических романов, которые породили множество подражаний, в том числе и в России (М.Н.Загоскин, О.М.Сомов, Н.А.Полевой и др.).

127

Черт побери... (анг.)

128

...не женируйтесь... — не стесняйтесь (от франц. g?ner).

129

Тимпан — древний ударный музыкальный инструмент.

130

Индульгенция — грамота об отпущении грехов у католиков, выдаваемая обычно за высокую плату церковью от имени папы римского.

131

Сбир — полицейский стражник в Италии.

132

Королевство обеих Сицилий — феодальное государство на юге Италии, существовавшее с 1130 до 1800 г.